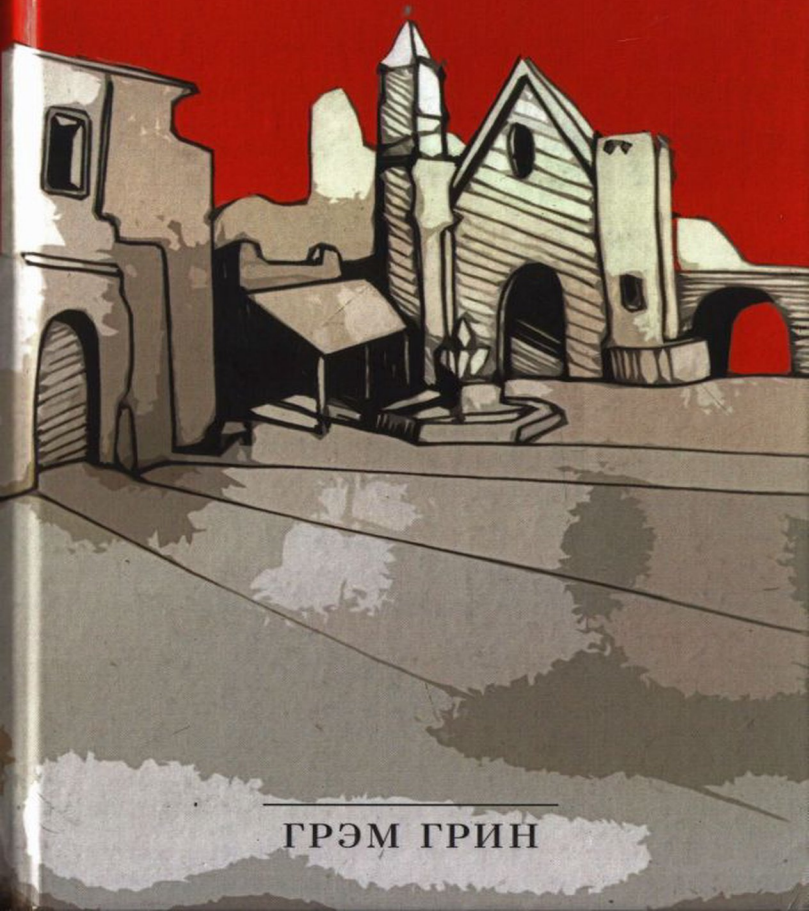
Сила и слава

в переводе отца Александра Меня



ГРЭМ ГРИН

Сила и слава
Грэм Грин

Аннотация
Untitled
Соль земли
Предисловие
СИЛА И СЛАВА. в переводе отца Александра Меня.
роман
  Часть первая
    Глава I. Порт
    Глава II. Столица
    Глава III. Река
    Глава IV. Свидетели
  Часть вторая
    Глава I
    Глава II
    Глава III
    Глава IV
  Часть третья
    Глава I
    Глава II
    Глава III
    Глава IV
    Часть четвертая

Послесловие

Аннотация

Романом Грэма Грина «Сила и слава» издательство начинает новую серию «Соль земли». Роман Грэма Грина занимает в этой серии особое место: он был переведен отцом Александром в то время, когда Грин не разрешал публиковать свои произведения в СССР — стране, преследующей инакомыслие. История гонения опального священника была близка отцу Александру, и до какой-то степени он видел в его судьбе свою судьбу.

ГРЭМ ГРИН

Сила и слава

в переводе отца Александра Меня

роман

Соль земли

Романом Грэма Грина «Сила и слава» мы начинаем новую серию — «Соль земли». Книга Грина занимает в этой серии особое место: отец Александр перевел ее в то время, когда Грин не разрешал публиковать свои произведения в Советском Союзе — стране, преследующей инакомыслящих.

Отец Александр перевел «Силу и славу» для своей паствы — и не только перевел, но и сам начитал текст. История гонения опального священника была близка отцу Александру, и до какой-то степени он видел в его судьбе свою судьбу.

Приблизительно в те же годы этот роман перевела Н. А. Волжина, но перевела его «в стол».

Когда журнал «Иностранная литература» решился печатать «Силу и славу», а это было в начале перестройки, то неточности, касающиеся новозаветной тематики, редактор исправлял с помощью отца Александра. Естественно, встал вопрос о том, как обозначить на страницах журнала его участие в этой работе, и отец Александр

сказал: «Пусть это будет текст Натальи Альбертовны Волжиной. Кто я как переводчик по сравнению с ней?» Предлагаемый перевод — это восстановленный текст самого отца Александра.

Мы будем продолжать эту серию, представляя в ней наиболее важные для отца Александра книги, герои которых — соль земли.

Екатерина Гениева

Предисловие

Говорят о силе и славе Христа распятого, о торжестве, путь к которому ведет через Голгофу. Людям свойственно преклоняться перед земной силой и земной славой, и не случайно, что господствующая триумфальная Церковь была идеалом многих христиан. Но Грин предпочитает говорить о Церкви в годы гонений, когда с нее спала пышная мишура и подверглись испытанию ее духовная сила и верность.

Иному читателю может показаться, что события романа разворачиваются в каком-то фантастическом государстве, что автор предлагает ему нечто вроде модной нынче антиутопии. На самом деле перед нами реальная страна: Мексика конца 20-х годов.

Мексиканский кризис назревал давно. Еще в XIX веке Церковь приняла активное участие в борьбе страны за отделение от Испании. В результате после провозглашения независимости католическая иерархия стала влиятельнейшей общественной силой государства и добилась больших привилегий. Однако очень скоро сопер-

ником ее выступила светская партия реформ. В 1857 году эта партия добилась принятия законов, направленных против Церкви. Монастыри были закрыты, религиозное образование изгнано изо всех школ, государственных и частных, духовенству предписывалось пройти регистрацию, ему запрещалось носить на улице сутану, заниматься общественной деятельностью, клириков лишили права владеть недвижимостью и поставили под строгий контроль государства. Все служители Церкви немексиканского происхождения должны были быть высланы из страны. Однако благодаря активному сопротивлению духовенства и верующих большинство этих законов не удалось провести в жизнь.

В начале XX века антицерковные силы вновь перешли в наступление. Переворот 1910—1919-х годов, потрясший Мексику, привел к власти непримиримых врагов христианства. Прежнее законодательство приняло еще более жесткий характер в Конституции 1917 года. Губернаторы штатов получили полномочия регулировать по собственному усмотрению число духовных лиц на их территориях. С непокорными расправлялись сурово и беспощадно.

Вожди мексиканской революции отнюдь

не были марксистами. Один за другим они создавали полувоенные режимы, обычные в Латинской Америке. Антиклерикальные лозунги требовались им только для того, чтобы сломить соперника — Церковь. Их идеологией был светский либерализм и просвещение в духе XIX века. Однако жизнь при этих режимах меньше всего походила на жизнь свободного общества, обещанного старым либерализмом. В ответ на массовые репрессии Лига защиты свободы религии начала открытую борьбу с правительством. Вспыхнула гражданская война, длившаяся с 1926 по 1929 год. Против 50-тысячной правительственной армии выступило 23 тысячи добровольцев-католиков, сражавшихся под девизом: «Слава Христу-Царю!» Отсюда их название — кристерос.

В результате гражданской войны и давления Соединенных Штатов власти оказались вынужденными пойти на уступки. Повстанцам объявили амнистию, а большинство антицерковных законов осталось на бумаге.

Грэм Грин был хорошо знаком с положением дел в Мексике. В 1938 году он объехал эту страну как член комиссии, изучавшей факты религиозных преследований. Результатом путешествия и явились две книги: репортаж «Дорогами без-

закония» (1939) и роман «Сила и слава» (1940), который был отмечен литературной премией как лучший роман года. В 1956 году роман был инсценирован.

Книга переносит нас в глухой южный штат Мексики, где губернатор все еще стоит на позиции непримиримой борьбы с Церковью. Его цель — уничтожение христианства. Духовенство объявлено вне закона. Епископы и священники вынуждены бежать. Остаются лишь двое. Одного принудили вступить в брак, чтобы он не имел возможности совершать богослужения, а второй много лет скрывается от полиции и продолжает свое дело тайно. Он-то и есть главный персонаж романа. Автор не называет его по имени, он хочет видеть в нем безымянного героя веры, ибо через него проявилась сила и слава Церкви.

Однако Грин сделал все, чтобы снять с мученика сусальную позолоту. Оставшись нелегально в своем приходе, священник падает духом. Он истерзан одиночеством и постоянным страхом. Он начинает пить, хотя в штате установлен сухой закон. В одной из деревень с ним происходит падение — мимолетная связь с женщиной в минуту отчаяния. В результате он становится отцом несчастного заброшенного ребенка. Од-

ним словом, этот человек наделен множеством слабостей. Сам по себе он вовсе не герой. Мысль о своем грехе давит его. Он не чувствует в себе никаких сил для подвига. В романе его судьба противопоставлена благочестивой легенде, которую мать-католичка читает своим детям.

И все же, повинуясь внутреннему голосу, герой проходит свой путь до конца. Он не сознает себя настоящим исповедником веры. Но просто говорит, что над ним имеет власть нечто большее, чем он сам. Именно в этой его смиренной верности и торжествует Христос. Его сила и слава.

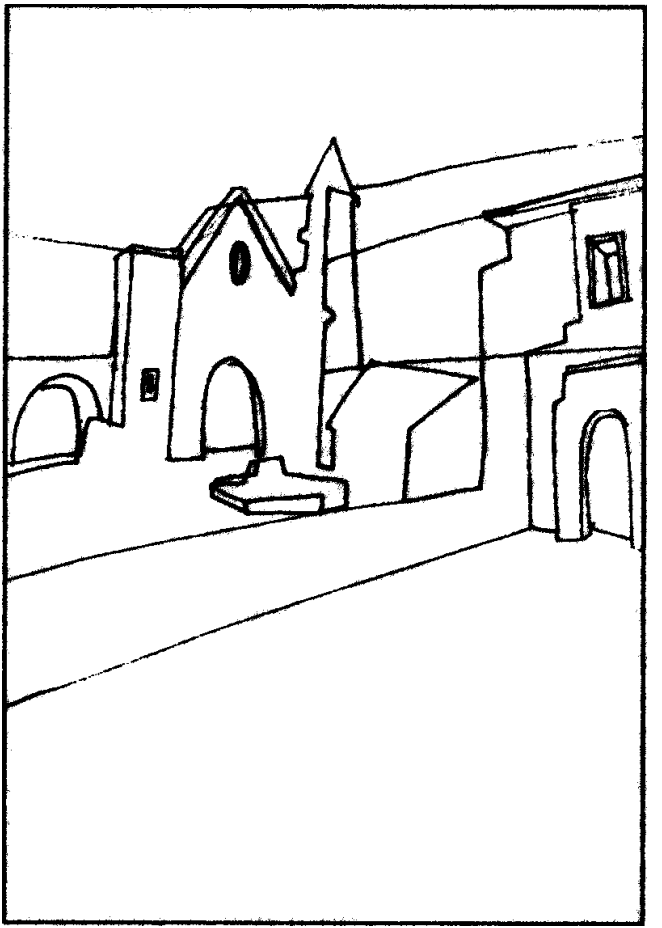
Протоиерей Александр Мень

СИЛА И СЛАВА
в переводе отца Александра Меня
роман

Тесней кольцо; злой силой свора дышит;
И с каждым шагом смерть становится
все ближе.

Драйден

Часть первая



Глава I
Порт

Мистер Тенч вышел под палящее мексиканское солнце на белую от пыли улицу узнать, не прибыл ли баллон с эфиром. На крыше сидели грифы и смотрели на него с гнусным равнодушием: он еще не стал падалью. Слабое чувство протеста поднялось в душе мистера Тенча; он соскреб расслаивающимися ногтями горсть земли с дороги и вяло бросил в птиц. Одна из них поднялась и, хлопая крыльями, полетела через город — над маленькой площадью, над бюстом того, кто уже перестал быть президентом, генералом и человеком, над двумя киосками с минеральной водой, по направлению к реке и морю. Там она не найдет ничего: в той стороне о падали заботятся акулы. Мистер Тенч вышел на площадь.

«Buenos dias»[1], — сказал он человеку с ружьем, который сидел у стены, где осталось немного тени. Но это не Англия: человек не ответил ни слова, только недружелюбно взглянул на мистера Тенча, будто не знал этого чужака и словно

---

[1] Примечания: 1
Добрый день *(исп.).*

мистер Тенч не имел отношения к его двум золотым коронкам. Обливаясь потом, мистер Тенч прошел мимо казначейства, но забыл, зачем шел: за стаканом минеральной? Кроме нее из-за сухого закона единственное, что можно выпить в этом штате, — пиво, да и то лишь по особому случаю: оно являлось государственной монополией и стоило слишком дорого. Мистер Тенч ощутил отвратительную тошноту в желудке — нет, вроде бы, он шел не за минеральной водой. Ну, разумеется! Баллон с эфиром… Прибыл пароход. Он слышал его торжествующий гудок, когда лежал в постели после завтрака. Миновав парикмахерскую и две зубоврачебные амбулатории, он вышел между складом и таможней на берег реки.

Река медленно текла к морю среди банановых плантаций. «Генерал Обрегон»[2] причалил к берегу, и с него сгружали пиво — с сотню ящиков уже стояло штабелями на набережной. Мистер Тенч остановился в тени таможенного здания и подумал: «Зачем я здесь?». Пекло выжгло ему

---

[2] Примечания: 2

Альваро Обрегон (1880–1928) — генерал, один из руководителей Мексиканской революции 1910–1917 гг. В 1920 г. был избран президентом и вел борьбу за проведение антицерковных законов. В 1928 г. был избран вторично, но пал жертвой заговора, не успев вступить в должность *(прим. перев.)*.

память. Он собрал горькую слюну и с отчаянием плюнул в солнце. Потом сел на ящик и стал ждать. Все равно делать было нечего: до пяти к нему никто не придет.

«Генерал Обрегон» был длиной ярдов в тридцать. Несколько футов сломанных поручней, одна спасательная лодка, колокол, висевший на гнилом канате, керосиновый фонарь на носу — похоже, он продержится в Атлантике еще года два-три, если только его не настигнет в заливе северный ветер. Но тогда уж ему, разумеется, крышка. Впрочем, это не имело значения: каждый, кто покупал билет, тем самым приобретал и страховку. С полдюжины пассажиров стояли среди связанных за ноги индюков и глазели, перегнувшись через поручни, на порт: на склады, пустые, выжженные улицы с зуболечебницами и парикмахерскими.

Мистер Тенч услышал за спиной скрип револьверной кобуры и обернулся. На него злобно смотрел таможенный инспектор. Он что-то сказал, но мистер Тенч не понял что.

— Простите? — сказал он.

— Мои жубы! — прошамкал таможенник.

— О, — ответил мистер Тенч. — Зубы? Разумеется!

Человек был без зубов, поэтому не мог внятно говорить. Мистер Тенч вырвал их все до единого. Его снова стало тошнить: что-то было не так — глисты, дизентерия?

— Скоро будут готовы! Сегодня к вечеру, — сказал он наобум.

Это было, конечно, нереально, но так он жил, вечно все откладывая. Клиент был удовлетворен. Может быть, он забудет, а если нет — что поделаешь? Он заплатил вперед. Таков был весь мир мистера Тенча: жара, беспамятство, откладывание на завтра, деньги вперед, если возможно, — за что?

Он посмотрел на медленную реку: акулий хвост, как перископ, двигался к устью. Годами корабли садились здесь на мель, и теперь они служили укреплением берега; их дымовые трубы наклонились и, точно пушки, целились в какую-то далекую цель за банановыми деревьями и болотами.

Мистер Тенч подумал: «Баллон с эфиром, чуть не забыл!» Разинув рот, он принялся угрюмо считать бутылки «Сервесы Монтесумы». 140 ящиков. 12 на 140; липкая слюня скопилась во рту. 12 на 4 = 48.

— Боже, какая хорошенькая! — воскликнул он

по-английски. — 1200, 1680… — Он сплюнул и с вялым интересом стал рассматривать девушку на носу «Генерала Обрегона»; у нее недурная фигурка; глаза, конечно, слишком черные, во рту блестел непременный золотой зуб, но все же в ней было что-то свежее и юное. 1680 бутылок по одному песо за каждую…

Кто-то прошептал по-английски:

— Что вы сказали?

Мистер Тенч резко обернулся.

— Вы англичанин? — с изумлением спросил он, но, увидев круглое худое лицо, заросшее трехдневной щетиной, изменил вопрос: — Вы говорите по-английски?

— Да, — ответил тот; он немного говорит по-английски.

Он стоял неподвижно в тени, маленький человечек в поношенном темном городском костюме с чемоданчиком в руках. Под мышкой у него торчал роман: на грубо размалеванной обложке была изображена любовная сцена.

— Простите, я думал, вы обратились ко мне, — сказал он. У него были глаза навыкате; казалось, он охвачен робким весельем, будто празднует свой день рождения… в одиночестве.

Мистер Тенч сплюнул густую слюну.

— Что я такое сказал? — Он не мог вспомнить.

— Вы сказали: «Боже, какая хорошенькая».

— Что я имел в виду? — Тенч взглянул на безжалостное небо. Гриф парил там, словно наблюдатель. — Что? Наверное, эту девушку! Нечасто увидишь такую хорошенькую в этих краях. Одну-две в год.

— Она слишком молода…

— Я ничего такого не имел в виду, — устало сказал Тенч. — Может же человек просто посмотреть! Уже пятнадцать лет я живу один…

— Здесь?

— Тут рядом…

Некоторое время они молчали; тень от здания таможни, как стрелка часов, переместилась на несколько дюймов ближе к реке. Гриф немного сдвинулся с места.

— Вы с парохода? — спросил мистер Тенч.

— Нет.

— Уезжаете?

Маленькому человечку, видно, не хотелось отвечать на этот вопрос, но, будто оправдываясь, он пояснил:

— Я просто смотрел. Пароход наверное скоро отойдет?

— Через несколько часов, — сказал мистер

Тенч. — На Веракрус[3].

— Он никуда не заходит?

— Куда ему заходить? — ответил Тенч. — А на чем вы приехали?

Незнакомец ответил неопределенно:

— На каноэ.

— У вас плантация?

— Нет.

— Приятно слышать английскую речь. Вы выучили английский в Штатах?

Человек кивнул. Он был не слишком разговорчив.

— Эх, что бы я дал, чтобы очутиться там! — сказал мистер Тенч. В голосе его прозвучала глубокая тоска. — В вашем чемоданчике случайно не найдется чего-нибудь выпить? Кое-кто из ваших — я знал одного-двух — держит спиртное в лечебных целях.

— Только в лечебных, — сказал человек.

— Вы врач?

Тот покосился на Тенча красными воспаленными глазами:

— Вы меня сочтете знахарем…

---

[3] Примечания: 3

Веракрус — порт одноименного мексиканского штата. В годы, описанные в романе, там установились довольно либеральные порядки *(прим. перев.)*.

— Патентованные снадобья? Живи и давай жить другим? — сказал мистер Тенч.

— А вы что, уезжаете?

— Нет, я пришел сюда за… впрочем, это не важно… — Он приложил руку к животу и сказал:

— У вас нет какого-нибудь средства от… *э-э*… Черт, не знаю от чего. Проклятая страна. Вы не вылечите меня… Никто не вылечит…

— Вы хотите вернуться домой?

— Дом, — сказал мистер Тенч. — Мой дом здесь. Вы знаете, каков курс песо в Мехико? Четыре за доллар. Четыре, о Боже! *Ora pro nobis*[4].

— Вы что — католик?

— Нет, нет, это просто присказка. Ни во что такое я не верю. — И добавил без всякой связи: — Слишком жарко…

— Думаю, надо где-нибудь присесть…

— Пойдемте ко мне, — сказал мистер Тенч. — У меня есть запасной гамак. Пароход отойдет еще не скоро. Если вы хотите его проводить.

— Мне нужно было повидать одного человека, — сказал незнакомец. — Его фамилия Лопес.

— Э, да они его расстреляли несколько недель назад, — сказал мистер Тенч.

---

[4] Примечания: 4

Молись о нас *(лат.)* — слова из католической молитвы *(прим. перев.)*.

— Он умер?

— Вы знаете, как здесь это просто делается. Он был вашим другом?

— Нет, нет, — ответил человек поспешно. — Просто друг моего друга.

— Да… Так вот, — сказал Тенч. Он снова собрал всю горечь во рту и выплюнул ее на знойное солнце. — Говорят, он помогал этим… неблагонадежным… бежать. Теперь его девчонка живет с начальником полиции.

— Его девчонка? Вы имеете в виду его дочь?

— Он не был женат. Я имею в виду девицу, с которой он жил. — Мистер Тенч на миг удивился выражению лица незнакомца и снова сказал: — Вы знаете, как это бывает… — Он глянул на «Генерала Обрегона». — А эта — лакомый кусочек… Конечно, года через два она станет похожей на всех остальных. Толстой и глупой. О Боже, как хочется выпить! *Ora pro nobis.*

— У меня есть немного бренди, — сказал незнакомец.

Мистер Тенч взглянул на него удивленно:

— Где?

Изможденный незнакомец засунул руку в карман — должно быть, там находилась причина его нервозной веселости. Тенч схватил его за

запястье:

— Осторожнее, — сказал он. — Только не здесь.

Он взглянул туда, где в полоске тени сидел на пустой корзине часовой с винтовкой.

— Пойдемте ко мне!

— Мне хотелось бы посмотреть, как отправляется пароход… — сказал маленький человек с неохотой.

— Он отойдет через несколько часов! — снова заверил его мистер Тенч.

— Через несколько часов? Точно? На солнце так печет!

— Пойдем лучше ко мне домой.

Домом назывались четыре стены, в которых он спал. Настоящего дома у него никогда здесь не было. Они направились через маленькую, сожженную солнцем площадь, где высился покойный генерал, позеленевший от сырости, и стояли под пальмами ларьки с газированной водой. Настоящий же дом лежал, словно цветная открытка в куче других открыток, — переберите пачку, и вы найдете. Ноттингем — город в метрополии, где он родился, несколько благополучных лет в Саутенде. Отец Тенча тоже зубной врач, и первое его воспоминание было о том, как он нашел в корзинке для бумаг выброшенный гип-

совый слепок беззубых челюстей, похожий на окаменелости из Дорсета — неандертальца или питекантропа. Он стал его любимой игрушкой. Его пытались соблазнить детским конструктором, но судьба его уже была решена. В детстве всегда бывает момент, когда приоткрывается дверь — и входит будущее. В корзинке для бумаг лежали и знойный, влажный речной порт, и грифы. Он вытянул их как жребий. Мы должны быть благодарны судьбе, что не можем увидеть ужасов и падений, окружающих наше детство, в буфетах и на книжных полках — везде.

Мостовой не было; в сезон дождей деревня (это была просто деревня) утопала в грязи. Сейчас земля под ногами твердая как камень. Оба мужчины молча миновали парикмахерские, зуболечебницы; вид у грифов на крыше был мирный, как будто они были домашними птицами. Они ковырялись под широкими пыльными крыльями, выискивая паразитов.

— Вы уж меня извините, — сказал мистер Тенч, останавливаясь перед одноэтажной деревянной лачугой с верандой, где качался гамак. Лачуга была чуть больше остальных домишек, стоявших на этой узкой улочке, которая оканчивалась через двести ярдов болотом. Он сказал нервно:

— Хотите посмотреть дом? Не хочу хвастаться, но я здесь лучший зубной врач. Это неплохое место, не хуже других.

Гордость, неуверенно звучавшая в его голосе, напоминала растение со слабыми корнями.

Он запер за собой дверь и повел гостя внутрь, через столовую, где по обе стороны ничем не покрытого стола стояли два кресла-качалки, керосиновая лампа, буфет.

— Сейчас я достану стаканы, — сказал он. — Но сначала мне хочется показать вам… э… ведь вы образованный человек…

Окно зубоврачебного кабинета выходило во двор, где с жалкой, суетливой важностью расхаживало несколько индюков. Бормашина с ножной педалью, кресло для пациентов, покрытое ярко-красным плюшем, брошенные в беспорядке запыленные инструменты в стеклянном шкафу. Щипцы были засунуты в чашку, сломанная спиртовка задвинута в угол, на всех полках валялись ватные тампоны.

— Очень мило, — сказал незнакомец.

— Правда, не так уж плохо для этого города, — отозвался мистер Тенч. — Вам не понять этих трудностей, — говорил он с горечью. — Эта бормашина сделана в Японии, я работаю на ней всего

месяц, и она уже барахлит. Но у меня нет денег на американскую.

— Очень красивое окно, — сказал незнакомец.

Одна створка с витражным стеклом была открыта внутрь комнаты. Через противомоскитную сетку на двор с индюками глядела Мадонна.

— Я взял его, — сказал мистер Тенч, — когда они грабили церковь. По-моему, нехорошо, если в кабинете зубного врача нет витража. Как-то некультурно. Дома (я имею в виду Англию) это бывает обычно смеющийся рыцарь, не знаю почему, или роза Тюдоров. Но здесь не приходится выбирать и привередничать.

Он открыл другую дверь и сказал:

— Моя рабочая комната.

Здесь прежде всего бросалась в глаза кровать с противомоскитным пологом.

— Понимаете, — сказал мистер Тенч, — не хватает помещения.

Кувшин и таз стояли на одном конце самодельной лавки. Там же лежало мыло, а на другом конце — паяльная трубка, поднос с песком, клещи и маленький горн.

— Я выплавляю в песке, — сказал мистер Тенч. — Что еще остается делать в этих местах?

Он поднял протез нижней челюсти.

— Не всегда выходит то, что надо, — сказал он. — Разумеется, они недовольны. — Он положил протез и кивнул на другой предмет на лавке. Это была какая-то длинная кишка с двумя маленькими резиновыми грушами.

— Врожденная трещина, — пояснил он. — Я это попробовал впервые. Болезнь Кингсли. Сомневаюсь, что выйдет толк. Но человек должен стараться идти в ногу с веком.

Его челюсть отвисла, взгляд снова стал пустым. Жара в маленькой комнате была невыносима. Он стоял здесь, словно человек, заблудившийся в пещере, среди приборов и инструментов, принадлежащих эпохе, которую он очень мало знает.

Незнакомец сказал:

— Не присесть ли нам?

Мистер Тенч тупо посмотрел на него.

— Мы можем открыть бренди…

— Ах да, бренди!

Мистер Тенч взял два стакана с полки над лавкой, которая служила ему буфетом, и оттер их от песка. Потом они перешли в переднюю комнату и уселись в качалках.

Мистер Тенч налил стаканы.

— Разбавим водой? — спросил гость.

— Здесь нельзя доверять воде, — сказал мистер

Тенч. — Из-за нее у меня неприятности тут. — Он приложил руку к животу и сделал большой глоток. — Вы тоже неважно выглядите, — сказал он и всмотрелся. — Ваши зубы… — Одного клыка не было, передние зубы желтые, в камнях и дуплах. — Вы должны обратить на них внимание.

— Что толку? — сказал гость. Он осторожно держал стакан с бренди на самом донышке, словно это было животное, которое он приютил, но которому не доверяет. Он выглядел голодным и неухоженным и казался неудачником, потерпевшим поражение в жизни — из-за плохого здоровья или характера.

— Выпейте! — подбодрил его мистер Тенч: то было не его бренди. — Вам станет лучше.

Черный костюм человека и опущенные плечи наводили на неприятные мысли о гробе. А в его испорченных зубах уже поселилась смерть.

Мистер Тенч налил себе еще стакан.

— Здесь одиноко, — сказал он. — Приятно поговорить по-английски хотя бы с неангличанином. Если хотите, я покажу вам фото моих ребят. — Он достал из записной книжки пожелтевший любительский снимок и протянул незнакомцу. Два маленьких мальчика в саду за домом дрались из-за лейки. — Правда, — сказал он, — это было

шестнадцать лет назад.

— Они теперь уже молодые люди.

— Один умер.

— Что ж, — тихо откликнулся гость. — Зато в христианской стране.

Он отхлебнул бренди и странно улыбнулся мистеру Тенчу.

— Надо думать, что так, — удивленно сказал мистер Тенч. Он избавился от липкой слюны во рту и добавил: — По-моему, это не очень меняет дело.

Он замолчал. Мысли его витали далеко, рот приоткрылся. Он выглядел тусклым и опустошенным, пока боль не напомнила о себе, и он налил еще бренди.

— Так-так… О чем это мы с вами говорили… Малыши… Да, малыши. Странно, какая ерунда порой запоминается. Знаете, я помню эту лейку лучше, чем детей. Она стоила три шиллинга одиннадцать пенсов и три фартинга. Зеленая. Я мог бы показать магазин, где я ее купил. Но дети… — Он задумался над стаканом. — Я не могу вспомнить о них ничего, кроме того, что они плакали.

— Вы получаете от них известия?

— Я перестал писать еще прежде, чем поселился здесь. Какой смысл? Я не могу посылать им

деньги. Не удивлюсь, если моя жена вторично вышла замуж. Ее мать хотела этого, злобная сука! Она всегда терпеть меня не могла.

— Ужасно! — сказал гость тихим голосом.

Мистер Тенч удивленно взглянул на собеседника. Тот качался в кресле, готовый и уйти, и остаться, похожий на черный вопросительный знак. Со своей серой трехдневной щетиной и видимой слабостью он не внушал уважения. Такому можно приказывать что угодно. Гость сказал:

— Я имел в виду мир, все, что в нем творится…

— Пейте ваше бренди!

Тот отхлебнул глоток, как бы уступая, и сказал:

— Вы помните эти края прежде? До того, как пришли краснорубашечники[5]?

— Разумеется!

— Какой счастливой тогда была жизнь.

— Да? Я этого не замечал.

— У людей по крайней мере был Бог.

— На состоянии зубов это не отражалось, — сказал мистер Тенч. Он налил себе еще из бутылки гостя. — Это всегда было ужасное место, тоскли-

---

[5] Примечания: 5

Краснорубашечники — военизированные отряды, созданные в конце 1930-х годов Томасом Гарридо Каннабалем, губернатором штата Тобаско (где происходит действие романа), известным своей реакционной политикой и фанатичным антиклерикализмом *(прим. ред.)*.

вое, Боже мой! Те, кто живет в Англии, назвали бы его романтическим. Я думал, пройдет пять лет и я уеду. Здесь было полно работы. Золотые зубы. А потом курс песо упал. И теперь я не могу выбраться отсюда. Но когда-нибудь я это сделаю. Сверну дело. Поеду домой. Буду жить, как положено джентльмену. Забуду все это. — Он указал на пустую, вровень с землей комнату. — Осталось немного ждать, я оптимист.

Внезапно незнакомец спросил:

— А долго он идет до Веракруса?

— Кто?

— Пароход.

Мистер Тенч ответил уныло:

— Сорок часов — и вы там. «Дилигенсия» — хороший отель. И дансинги. Веселый город.

— Казалось бы, так близко, — сказал гость. — А сколько стоит билет?

— Вы должны спросить у Лопеса, он агент, — сказал мистер Тенч.

— Но Лопес…

— Ах да, забыл. Его расстреляли.

Кто-то постучал в дверь. Незнакомец сунул свой чемоданчик под качалку, а мистер Тенч осторожно подошел к окну.

— Нельзя никому доверять, — сказал он. — У

любого зубного врача с именем есть враги.

Робкий голосок умоляюще сказал:

— Свои.

И мистер Тенч открыл. Солнце немедленно ворвалось, как раскаленный брусок металла. В дверях стоял ребенок и спрашивал доктора. У него была широкополая шляпа и тупые карие глаза. За его спиной на утрамбованной раскаленной дороге топтались и храпели два мула. Мистер Тенч объяснил, что он не доктор, а зубной врач. Оглянувшись, он увидел, что незнакомец скрючился в кресле-качалке, его пристальный взгляд стал умоляющим… Ребенок ответил, что в городе появился новый доктор, а у старого лихорадка, он не может выйти из дома. Мать мальчика заболела.

Смутная мысль мелькнула в мозгу мистера Тенча. Подумав, он сказал:

— Вы ведь, кажется, врач?

— Нет, нет, я должен идти на пароход.

— По-моему, вы говорили…

— Я передумал.

— Но он отчалит через несколько часов. Он никогда не ходит точно по расписанию.

Мистер Тенч спросил ребенка, далеко ли идти.

— Шесть миль, — ответил тот.

— Слишком далеко, — сказал мистер Тенч. — Ступай. Поищи кого-нибудь другого. — И, повернувшись к незнакомцу, добавил: — Как быстро здесь распространяются новости. Все уже знают, что вы в городе.

— Я ничем не смог бы помочь, — сказал незнакомец с тревогой в голосе. Казалось, он смиренно спрашивал мнения мистера Тенча.

— Ступай! — приказал мистер Тенч.

Ребенок не шелохнулся. Он стоял на палящем солнце и глядел на них с бесконечным терпением. Он повторил, что его мать умирает. Карие глаза не выражали никаких чувств — это был просто факт. Ты рождаешься, твои родители умирают, и ты сам состаришься и умрешь.

— Если она умирает, — сказал мистер Тенч, — врач ей не нужен.

Незнакомец через силу поднялся, однако так, словно прозвучало требование, не допускающее отказа.

— Так всегда, — печально сказал он. — Так всегда бывает…

— Вы же должны успеть на пароход.

— Не успею, — сказал гость. — Так суждено, чтобы я не успел. — Легкое раздражение охватило его. — Дайте мне бренди. — Он сделал долгий

глоток, взглянул на равнодушного ребенка, на палящую улицу, на грифов, повисших в небе, словно грязные пятна…

— Ну, если она умирает, — сказал мистер Тенч.

— Знаю я этих людей. Она наверняка так же умирает, как я.

— Вы ей не нужны!

Ребенок наблюдал за ними с полным безразличием. Спор на чужом языке был для него лишен смысла, его не касался. Он просто ждал, когда врач пойдет с ним.

— Что вы понимаете? — взволнованно сказал незнакомец. — Все только и твердят: вы не нужны. — Бренди подействовало на него. С непонятной горечью он добавил: — Мне кажется, я слышу, как это говорят во всем мире.

— Если так, — сказал мистер Тенч, — будет другой пароход, через две недели или через три. Вы счастливчик. Вы можете удрать отсюда. Вы не вложили сюда капитала. — Он подумал о своем капитале: японская бормашина, зубоврачебное кресло, спиртовка, маленький горн для протезов — целое состояние в этой стране!

— *Vamos!*[6] — сказал человек ребенку. Он по-

---

[6] Примечания: 6
Пошли *(исп.).*

вернулся к мистеру Тенчу и поблагодарил за гостеприимство. Он обладал достоинством, хорошо известным мистеру Тенчу, — достоинством людей, которые боятся боли, но все же решительно садятся в его зубоврачебное кресло. Возможно, ему не хотелось ехать на муле. Он сказал со старомодной учтивостью: — Я буду молиться о вас.

— Приятно было познакомиться, — сказал мистер Тенч.

Человек сел на мула, и под палящим зноем ребенок очень медленно поехал вперед в направлении к болоту. Незнакомец появился утром как раз с той стороны, казалось, для того только, чтобы взглянуть на «Генерала Обрегона» и вернуться назад. Под действием бренди он не совсем твердо держался в седле. Весь его облик выражал разочарование. Вскоре он превратился в мимолетное видение в конце улицы и исчез из виду.

Возвращаясь к себе в комнату, мистер Тенч подумал, что с этим незнакомцем приятно было поговорить, и на всякий случай запер за собой дверь. Теперь перед ним пустота и одиночество. И то и другое ему привычно, как собственная физиономия в зеркале. Он сел в кресло и стал раскачиваться, создавая легкое движение в спертом воздухе. Термиты вереницей ползли по комнате

к тому месту, где гость пролил немного бренди. Там они останавливались у лужицы, а потом двигались цепочкой к другой стене и скрывались. На реке дважды просигналил «Генерал Обрегон» — неизвестно зачем.

Гость забыл книгу. Она лежала под качалкой. На обложке — женщина в платье времен короля Эдуарда рыдала на ковре, обнимая коричневые остроносые ботинки мужчины. Он стоял над ней — презрительный, с напомаженными усиками. Книга называлась *«La Eterna Martir»*[7].

Помедлив, мистер Тенч поднял ее. Он удивился: то, что оказалось внутри, не соответствовало обложке. Книга была латинская. Мистер Тенч погрузился в раздумье. Он закрыл книгу и отнес ее в свою протезную мастерскую. Книги нельзя сжигать… Можно ее спрятать, если ты не вполне понимаешь, что все это значит. Он положил ее в маленькую плавильную печь. Потом остановился с отвисшей челюстью перед лавкой. Он вспомнил, для чего он шел на набережную, — за баллоном эфира, который должен был прибыть с «Генералом Обрегоном».

На реке снова прозвучал гудок, и мистер Тенч

---

[7] Примечания: 7
Вечная мученица *(исп.)*.

выбежал без шляпы на солнце. Он сам говорил, что пароход не уйдет до утра, но ни в чем нельзя полагаться на этих людей: вдруг на этот раз они станут следовать расписанию? Когда он выбежал на берег между таможней и складом, «Генерал Обрегон» уже на расстоянии десяти футов от берега шел по ленивой реке к морю. Мистер Тенч безнадежно крикнул вслед пароходу: на набережной не было и признаков баллона. Он крикнул еще раз, а потом успокоился. В конце концов, это было не важно; еще одна небольшая неприятность терялась на фоне великой покинутости.

Над «Генералом Обрегоном» подул легкий ветерок; с обеих сторон тянулись банановые плантации; кое-где торчали радиоантенны; порт остался позади. Если оглянуться, ничего не видно, как будто его и вовсе не было. Открывались широкие просторы Атлантики; большие серые валы вздымали нос парохода, и связанных индюков бросало по палубе. Земля уходила вдаль под мерную бортовую качку; внезапно спустилась ночь; в небе зажглись близкие яркие звезды. И только керосиновый фонарь горел на носу, и та девушка, которую приметил с берега мистер Тенч, тихо запела печальную, чувствительную песню о розе, на которой остались капли крови любимо-

го. Беспредельное чувство свободы и простора царило над заливом. А низкая береговая линия была глубоко погружена во мрак, словно мумия в гробницу. «Я счастлива, — сказала сама себе девушка, не понимая почему. — Я счастлива».

Между тем далеко позади в темноте брели мулы. Действие бренди давно кончилось, и человек, продвигавшийся по заболоченной дороге, которая станет непроходимой в дождливый сезон, мысленно отметил гудок «Генерала Обрегона». Путник знал, что это значит: пароход ушел согласно расписанию, а он остался. Против своей воли он возненавидел и мальчика, ехавшего впереди, и больную женщину — он был недостоин того, что совершал. Плотные запахи обступали его; казалось, эта часть мира так и не была иссушена пламенем в ту пору, когда Земля начала свое вращение в космосе; здешний край впитал в себя только мглу и туман тех бесконечных пространств. Он начал молиться, покачиваясь в такт неровным, спотыкающимся шагам мула и повторяя заплетающимся языком: «Пусть меня скорее схватят… Пусть меня скорее схватят…» Сделав попытку бежать, он оказался в роли царька западно-африканского племени, раба своего народа, который не имеет права прилечь из стра-

ха, что стихнет ветер.

Глава II
Столица

Наряд полицейских возвращался в участок. Они шли гурьбой, с небрежно висящими на плечах винтовками; вместо пуговиц — обрывки ниток; обмотки сползли к лодыжкам. Низкорослые люди с непроницаемыми глазами индейцев. Маленькая площадь на вершине холма была освещена фонарями с тройными шарами; провода между ними провисали чуть не до голов прохожих. Казначейство, президентский дворец, зуболечебница, тюрьма — белое здание с колоннами, которому уже триста лет, а затем вниз по крутой лестнице — алтарная стена разрушенной церкви. Как ни идти, обязательно придешь к воде и реке. Розовая краска облезла с классических фасадов и обнажила глину, и глина мало-помалу становилась просто грязью. На площади шло ежевечернее гулянье — женщины двигались в одном направлении, мужчины — в другом; молодые люди в красных рубахах шумно толпились вокруг ларьков с газировкой.

Впереди отряда полицейских с презрительным

видом шел лейтенант. Казалось, он приставлен к этим людям против воли, а шрам на его челюсти остался от попытки к бегству. Краги были начищены, кобура револьвера тоже, все пуговицы пришиты. Тонкий крючковатый нос торчал на худом лице танцовщика. Его опрятность в этом захудалом городке производила впечатление непомерных амбиций. С реки на площадь тянуло кислым запахом; на крышах устроились на ночлег грифы, прикрывшись грубыми черными крыльями. Изредка высовывалась маленькая глупая головка — поглазеть из-под крыльев, лапа меняла положение. Ровно в девять тридцать все огни на площади погасли.

Полицейский взял на караул, и отряд ввалился в барак; не дожидаясь приказа, повесили винтовки около офицерской комнаты, вразвалку пошли во двор к своим гамакам или в уборную, некоторые сбросили башмаки и легли. С глиняных стен осыпалась штукатурка; целое поколение полицейских исцарапало известку посланиями. Несколько крестьян ждали на скамье, свесив руки между колен. Никто не обращал на них внимания. Двое солдат дрались в уборной.

— Где шеф? — спросил лейтенант. Никто не знал; скорей всего, он играл где-нибудь в городе в

бильярд. Франтоватый лейтенант в досаде присел на стол начальника: за его спиной на известке были изображены два соединенных сердца.

— Ладно, — сказал он. — Чего вы ждете? Введите арестованных!

Они вошли один за другим, кланяясь, держа шляпы в руках.

— Такой-то: напился и хулиганил.

— Штраф пять песо.

— Я не могу заплатить, ваше превосходительство.

— Пусть вычистит уборную, а потом камеры.

— Такой-то: испоганил предвыборную афишу.

— Штраф пять песо.

— У такого-то под рубахой найден образок.

— Штраф пять песо.

Дежурство близилось к концу; никаких серьезных происшествий не было. В открытое окно с тонким звоном влетели москиты.

Снаружи послышалось, как часовой берет на караул: вернулся начальник полиции. Бодрой походкой вошел краснолицый толстяк в белом фланелевом костюме и широкополой шляпе. Патронташ и огромный револьвер хлопали по ляжке в такт шагам. Ко рту он прижимал носовой платок: он мучился.

— Опять болят зубы, — сказал он. — Опять болят!

— Никаких происшествий! — доложил лейтенант презрительным тоном.

— Сегодня со мной снова говорил губернатор, — пожаловался начальник.

— Спиртное?

— Нет, священник.

— Но ведь последний был расстрелян несколько недель назад.

— Губернатор иного мнения.

— Чертовски досадно, — сказал лейтенант, — что у нас нет фотографий.

Его взгляд скользнул по стене к фото Джеймса Калвера, разыскиваемого в Соединенных Штатах за ограбление банка и убийство. Грубое асимметричное лицо, снятое в двух ракурсах; описание разослано по всем полицейским участкам Центральной Америки; низкий лоб и фанатичный застывший взгляд. Лейтенант смотрел на фото с сожалением: у этого человека было мало шансов добраться до юга. Скорее всего, его поймают в какой-нибудь забегаловке — в Хуаресе, или Пьедрас-Негросе, или в Ногалесе.

— Он говорит, что фотография у нас есть, — простонал шеф, — а-а-а, зуб!

Он пытался достать что-то из заднего кармана брюк, но мешала кобура. Лейтенант нетерпеливо постукивал начищенным сапогом.

— Вот! — сказал начальник.

Множество людей сидело вокруг стола: девочки в белых муслиновых платьях, растрепанные пожилые женщины с озабоченными лицами; на заднем плане виднелись несколько мужчин со смущенными и беспокойными взглядами. Все лица состояли из мелких точек: это была снятая много лет назад газетная фотография праздника в честь первого Причастия; в окружении женщин сидел моложавый мужчина — судя по воротничку, католический священник.

Легко было представить, как в удушливой атмосфере заботы и почтения его угощают лакомствами, сбереженными к этому дню. Он восседал здесь — полный, с глазами навыкате, и отпускал безобидные шуточки.

— Это снято много лет назад, — сказал шеф.

— Он похож на всех прочих, — ответил лейтенант.

Фотография была нечеткой, замусоленной, и все-таки на ней хорошо был виден гладко выбритый и тщательно припудренный подбородок, который был слишком полным для его лет. Он

рано узнал светлые стороны жизни: уважение окружающих, обеспеченность. Избитые благочестивые слова на языке, шуточки, помогающие налаживать отношения, готовность принимать почести от людей… Счастливый человек! Органическая ненависть, какая бывает у собаки при встрече с чужой собакой, зашевелилась в животе у лейтенанта.

— Мы уже пять раз его расстреливали! — сказал он.

— Губернатор получил рапорт… на прошлой неделе он пытался удрать в Веракрус.

— Чем занимаются краснорубашечники, если он сюда добрался?

— Конечно же, они упустили его. Чистая случайность, что он не попал на пароход.

— Куда он делся?

— Найден его мул. Губернатор говорит, что его надо взять во что бы то ни стало в этом месяце. До дождей.

— Где был его приход?

— Консепсьон и окрестные деревни. Но он уехал оттуда уже несколько лет назад.

— Что-нибудь о нем известно?

— Он может сойти за гринго[8]. Шесть лет провел в одной американской семинарии. Больше я ничего не знаю. Родился в Кармене, сын лавочника. Такие данные нам едва ли помогут.

— По-моему, все они на одно лицо, — сказал лейтенант. Что-то вроде ужаса охватило его, когда он взглянул на белые муслиновые платья — он вспомнил запах ладана в церквах его детства, свечи, кружева и самодовольство. Непомерные требования, идущие со ступеней алтаря от людей, которые не понимали, что такое жертва. Старые крестьяне становились на колени перед священными статуями с крестообразно простертыми руками; измученные долгим трудом на плантациях, они здесь еще больше умерщвляли плоть. А священник обходил их с тарелкой для пожертвований, принимая их сентаво, распекая за пустячные грешки, которыми они доставляли себе маленькие радости, и ничем не жертвуя сам, кроме, разве, плотских утех. «Но ведь это нетрудно, — подумал лейтенант. — Совсем нетрудно». — Сам он не нуждался в женщинах. Он сказал:

— Мы поймаем его! Это только вопрос вре-

---

[8] Примечания: 8
Американец из США *(прим. перев.).*

мени.

— Мои зубы! — снова заныл шеф. — Всю жизнь отравили. Сегодня меня отпускало самое большее на полчаса.

— Вам следует сменить зубного врача.

— Все они одинаковы.

Лейтенант взял фотографию и приколол ее на стену. Джеймс Калвер, грабитель банка и убийца, уставился на праздник первого Причастия, повернувшись к нему своим жестким профилем.

— Во всяком случае, это настоящий мужчина, — сказал лейтенант одобрительно.

— Кто?

— Этот гринго.

— А вы слышали, что он сделал в Хьюстоне? — спросил шеф. — Удрал с десятью тысячами долларов, застрелил двух полицейских. В каком-то смысле даже лестно иметь дело с такими людьми. — Шеф яростно прихлопнул москита.

— Человек вроде этого, — сказал лейтенант, — не причиняет особого вреда. Ну, погибло несколько человек — все мы умрем. Деньги? Кто-то же должен их тратить. Больше пользы мы приносим, когда ловим одного из тех.

Он стоял в побеленной комнате с видом достойного, мыслящего человека, в сапогах, надраенных

до блеска, исполненный желчности. Было что-то бескорыстное, почти добродетельное в его стремлении поймать холеного уважаемого гостя, посетившего праздник первого причастия.

— Он, должно быть, дьявольски хитер, — уныло сказал шеф, — если ускользал столько лет.

— Это смог бы любой, — ответил лейтенант. — Мы за них не брались как следует, если не считать тех случаев, когда они сами шли к нам в руки. А вообще-то, я мог бы поручиться, что добуду этого человека в пределах месяца, если бы…

— Если бы что?

— Если бы у меня было достаточно полномочий.

— Легко говорить! — сказал шеф. — Что бы вы могли сделать?

— Штат небольшой: на севере — горы, на юге — море. Я бы все обыскал, как обыскивают улицу — дом за домом.

— Легко сказать! — невнятно простонал шеф, прижимая ко рту платок.

Неожиданно лейтенант произнес:

— Я скажу вам, что бы я стал делать. Я бы взял по человеку из каждой деревни штата в качестве заложника. Если местные жители не донесут на этого человека, когда тот появится, заложники

будут расстреляны. И тогда мы возьмем следующих.

— Погибнет много народу.

— Игра стоит свеч! Навсегда избавимся от этих людей, — сказал лейтенант, и в его словах послышалось ликование.

— А знаете, — сказал шеф, — в этом что-то есть.

* * *

Лейтенант шел к себе через город мимо домов с опущенными жалюзи. Вся его жизнь прошла тут: здание Синдиката рабочих и крестьян было когда-то школой. Он сделал усилие, чтобы прогнать эти безрадостные воспоминания. Весь город изменился — на месте собора была асфальтированная спортплощадка, и теперь на холме близ кладбища стояли железные качели, словно виселицы, под лунным светом. У новых детей будут новые воспоминания: ничто и никогда не останется неизменным. Когда он шел, внимательно всматриваясь в окружающее, он чем-то напоминал священника. Так богослов обозревает заблуждения минувших веков, чтобы снова сразиться с ними.

Он достиг своего пристанища. Дома были все одноэтажные, побеленные, построенные вокруг

внутренних двориков с фонтанчиками и небольшими клумбами. Окна, выходящие на улицу, забраны решеткой. В комнате лейтенанта стояла кровать, устроенная из старых ящиков, с соломенным тюфяком, подушкой и простыней. На стене висел портрет президента и календарь, а на кафельном полу стояли стол и кресло-качалка. При свете свечи все выглядело сурово, как тюремная камера или келья монаха.

Лейтенант сел на кровать и стал стягивать сапоги. Был час молитвы. Черные жуки ударялись о стены так громко, словно взрывались хлопушки. Больше десятка их ползало со сломанными крыльями по кафелю.

Он приходил в ярость от мысли, что есть еще в штате люди, которые веруют в любящего, милосердного Бога. Существуют мистики, которые говорят, что имели опыт непосредственной близости Бога. Он тоже был мистиком, но его опыт говорил о пустоте. Это была полная уверенность в существовании гибнущего, остывающего мира, человеческих существ, которые возникли из животных безо всякой цели. Он это знал.

Он улегся на кровать в рубашке и бриджах и задул свечу. Жара стояла в комнате, подобно врагу. Вопреки своим ощущениям, он верил в ле-

дяную пустоту космических пространств. Где-то играло радио; музыка из Мехико или, возможно, даже из Лондона или Нью-Йорка просачивалась в этот глухой, заброшенный штат. Это казалось лейтенанту уязвимым местом обороны; здесь была его земля, и он оградил бы, обнес бы ее, если бы мог, стальными стенами, пока не искоренил бы все, что напоминало о той жизни, которая когда-то окружала его печальное детство. Он хотел разрушить все, остаться одному, вообще безо всяких воспоминаний. Жизнь началась всего пять лет назад.

Лейтенант лежал на спине с открытыми глазами, а жуки со звуком выстрела ударялись в потолок. Он вспомнил священника, которого расстреляли краснорубашечники на холме у кладбищенской стены, тоже маленького, тучного человечка с глазами навыкате. Он был епископом и думал, что это его защитит: он слегка презирал низших клириков и все время указывал на свой сан. Только перед самым концом он вспомнил о молитве. Опустился на колени, и ему дали некоторое время для последнего покаяния. Лейтенант наблюдал: этого дела ему не поручали. Всего они расстреляли пятерых священников. Двое или трое успели бежать, архиепископ жил в безопас-

ности в Мехико, а один священник подчинился приказу губернатора, требовавшего от клириков вступления в брак. Он жил теперь близ реки со своей домохозяйкой. Это, конечно, было хорошее решение: оставить его живым свидетельством слабости их веры. Это доказывало ложь всего, что они делали в прошлом. Потому что, если бы они действительно верили в рай или ад, они бы не отказались от краткой муки здесь в обмен на огромность… Лежа на своей жесткой постели в сырой и жаркой комнате, лейтенант не испытывал никакого сочувствия к слабостям плоти.

* * *

В задней комнате Торговой школы женщина читала своим домашним. Две девочки — шести и десяти лет — сидели на кровати, а четырнадцатилетний мальчик стоял, прислонившись к стене, с выражением смертельной скуки.

— «Юный Хуан, — читала мать, — с детства отличался смирением и благочестием. Другие мальчики могли быть грубыми и мстительными, но юный Хуан следовал завету Господа нашего и подставлял другую щеку. Однажды отец решил, что Хуан солгал ему, и избил мальчика. Позднее он узнал, что сын сказал правду и попросил у

Хуана прощение. Но Хуан сказал ему: „Дорогой отец! Подобно тому, как Отец наш небесный имеет право наказывать, кого захочет…“»

Мальчик с досады стал тереться лицом об известку, а кроткий голос продолжал монотонно читать. Девочки сидели с блестящими внимательными глазами и впитывали сладость благочестия.

— «Не нужно думать, что юный Хуан чуждался смеха и игр с другими детьми. Но бывали моменты, когда он, взяв духовную книгу с картинками, удалялся в отцовский хлев, покидая круг веселых товарищей».

Мальчик раздавил черного жука босой ногой и мрачно подумал: все имеет конец. Рано или поздно они доберутся до последней главы и юный Хуан умрет у стены, воскликнув: Viva el Cristo Rey![9] Но потом, думал он, появится другая книга — их тайно провозили каждый месяц из Мехико. Если б только таможенники знали, где искать…

— «Нет, юный Хуан был настоящим мексиканским мальчиком, хотя он был более задумчив, чем его товарищи, но когда готовился спектакль, оказывался всегда первым. Однажды его класс

---

[9] Примечания: 9
Слава Царю Христу! *(исп.).*

ставил в присутствии епископа маленькую пьесу, посвященную гонениям на первых христиан; и никто не был так забавен, как Хуан, выбранный на роль Нерона. Сколько юмора вложил в роль мальчик, которому суждено было погибнуть от руки правителя, более жестокого, чем сам Нерон! Однокашник Хуана, ставший впоследствии иезуитом, отец Мигуэль Серра, пишет: „Ни один из нас не забудет того дня“»…

Одна из девочек украдкой облизнула губы: вот это была жизнь!

— «Поднялся занавес. Хуан был одет в лучший купальный халат матери. Углем ему нарисовали усы, а на голове была корона, сделанная из жестяной коробки из-под печенья. Даже добрый старик епископ улыбался, когда Хуан шагнул к краю импровизированной сцены и начал декламировать…»

Мальчик подавил зевоту, повернувшись к стене.

— Хуан вправду святой? — спросил он, потеряв терпение.

— Он будет им скоро, когда решит Святой отец.

— А они все похожи на Хуана?

— Кто?

— Мученики.

— Да, все.

— Даже падре Хосе?

— Не упоминай его имени, — сказала мать. — Как тебе не стыдно? Это презренный человек. Богоотступник.

— А он мне сказал, что он больший мученик, чем все остальные.

— Сколько раз я тебе говорила, не разговаривай с ним. Дитя мое, о, дитя мое!..

— А тот, который приходил к нам?

— Нет, он не совсем такой, как Хуан…

— Он тоже презренный?

— Нет, нет, совсем не презренный.

Младшая девочка внезапно сказала:

— От него пахло чем-то странным.

Мать продолжила чтение:

— «Предчувствовал ли юный Хуан в тот вечер, что пройдет не много лет и он сам войдет в число мучеников, мы не знаем. Но Мигуэль Серра рассказывает, что в тот вечер Хуан дольше, чем обычно, стоял на коленях, и когда его товарищи стали подтрунивать над ним, как это любят делать мальчики…»

Голос читал и читал. Он звучал тихо, неторопливо, с неизменной кротостью. Девочки слушали внимательно, стараясь запомнить благоче-

стивые выражения, чтобы потом удивить ими родителей, а мальчик снова зевал у стены. Все имеет конец.

Потом мать пошла к отцу.

— Мне так тревожно за мальчика, — сказала она.

— А почему не за девочек? Сейчас всюду тревожно.

— Они обе уже маленькие святые. А мальчик, он задает такие вопросы — об этом попе-пропойце. Жаль, что он был у нас в доме.

— Его бы забрали, если бы мы не дали ему приют. Он стал бы одним из твоих мучеников. О нем бы написали книгу, и ты читала бы ее детям.

— Тот человек? Никогда!

— Ну, в конце концов, — сказал муж, — он продолжает делать свое дело. Я не верю тому, что пишут в этих книгах. Все мы люди.

— Знаешь, что я сегодня слышала? Одна бедная женщина принесла ему покрестить своего сына. Она хотела назвать его Педро. Но священник был выпивши, ничего не разобрал и окрестил мальчика Бригиттой. Бригиттой!

— Что ж, это имя хорошей святой[10].

---

[10] Примечания: 10

По католическому обычаю мужчинам иногда дают имена в честь святых женщин *(прим. перев.).*

— Порой ты выводишь меня из терпения, — сказала она. — А недавно наш мальчик беседовал с падре Хосе.

— Город наш маленький, — сказал муж. — Рассчитывать нам не на что. Мы здесь брошены. Мы должны сами, как можем, выходить из положения. Что касается Церкви, то это падре Хосе и тот поп-пропойца. Я не знаю никого другого. Если нам не нравится такая Церковь — что ж, мы должны ее покинуть.

Он терпеливо смотрел на нее. Он был лучше образован, чем жена, умел печатать на машинке, знал основы бухгалтерии; один раз он побывал в Мехико, мог читать карту. Он знал степень их покинутости. Десять часов по реке до порта и еще сорок два по заливу до Веракруса — вот единственная дорога. На севере — болота и реки до самых гор, которые отделяли их от соседнего штата. А по ту сторону и вовсе бездорожье. Только тропы для мулов и случайный, маловероятный самолет; индейские селения и хижины пастухов, а через две сотни миль — Тихий океан.

Она сказала:

— Я лучше умру.

— Конечно, — ответил он. — Это само собой разумеется. Но мы должны продолжать жить.

* * *

Старик сидел на пустом ящике в выжженном дворике. Он был очень толст и страдал одышкой. Он тяжело пыхтел, как после больших усилий на жаре. Когда-то он немного изучал астрономию и теперь, глядя в ночное небо, пытался определить созвездия. На нем были только рубаха и брюки, ноги босы, но в его манерах явно сохранилось что-то церковное. Сорок лет служения Богу наложили на него свою печать. В городе царила тишина: все спали.

Мерцающие космические миры, казалось, таили в себе надежду, что Земля — это еще не вся Вселенная и, быть может, есть место, где не умер Христос. Трудно было поверить, что оттуда Земля выглядит такой же сверкающей: ведь, наверное, она покрыта густым туманом, медленно вращается в пространстве, словно горящий покинутый корабль. Весь земной шар окутан собственным грехом.

Из единственной комнаты, которую он имел, его позвала жена:

— Хосе, Хосе!

Он вздрогнул при этом звуке, словно галерный каторжник. Взгляд его оторвался от неба,

созвездия унеслись ввысь. Черные жуки ползали по двору.

— Хосе! Хосе!

Он с завистью подумал о тех, кто погиб: это произошло так быстро! Они были отведены на кладбище и расстреляны у стены. Две минуты — и жизнь прервалась. Разве это мученичество? Его жизнь все тянулась. Ему было только шестьдесят два. Он мог прожить до девяноста. А те двадцать восемь лет — неизмеримый период между рождением и первым приходом — вмещали все: детство, юность, семинарию…

— Хосе! Иди спать!

Он задрожал. Он знал, что смешон. Старику нелепо жениться, а уж старому священнику… Он посмотрел на себя со стороны: разве годится он даже для ада? Он просто толстый старый импотент, предмет насмешек и упреков в постели. А потом он вспомнил о даре, который получил и который никто не мог отнять у него, — власти претворять облатку в Тело и Кровь Господни. Вот что делало его достойным осуждения. Он был святотатцем. Куда бы он ни шел, что бы ни делал — он предавал Бога. Какой-то безумный католик-ренегат, напичканный политикой губернатора, ворвался в церковь — тогда еще здесь были церк-

ви — и надругался над Святыми Дарами, оплевал их, бросил на пол и топтал. А народ схватил его и повесил, как вешают на колокольне чучело Иуды в Великий Четверг.

«Он не такой уж плохой человек, — думал падре Хосе. — Он может быть прощен: для него это была просто политика. Я хуже его. Я похож на непотребную картинку, которая у всех на глазах изо дня в день развращает детей».

Он икнул на своем ящике, дрожа от ветра.

— Хосе! Ты что делаешь? Иди спать!

У него теперь не было никаких дел: ни треб, ни литургий, ни исповедей. И больше не имело никакого смысла молиться. Молитва потребовала бы действия, а у него не было намерения действовать. Уже два года жил он в состоянии смертного греха; и некому принять его исповедь. Ему ничего не оставалось, как сидеть и есть, и он ел, ел слишком много; она откармливала его, как на убой.

— Хосе!

У него началась нервная икота при одной мысли, что сейчас он в семьсот тридцать восьмой раз пойдет к своей грубой домоправительнице — своей жене. Она, должно быть, лежит под противомоскитным пологом на громадной мерзкой

кровати, занимающей полкомнаты. Костлявый призрак с лошадиным лицом и коротким крысиным хвостиком седых волос, в нелепом ночном чепце. Воображает, что заняла положение в обществе — государственная пенсионерка: жена единственного женатого священника. Она гордилась этим.

— Хосе!

— Да, да… ик… иду, любовь моя, — сказал он, встав с корзины.

Где-то раздался смех.

Он поднял свои красные заплывшие глаза, похожие на глазки свиньи, которая чувствует, что ее ведут на бойню.

— Хосе! — пропищал тонкий детский голосок.

Он в замешательстве обвел взглядом двор. В зарешеченном окне напротив трое детей пристально наблюдали за ним. Он повернулся к ним спиной и сделал шаг или два по направлению к двери, двигаясь очень медленно из-за своей тучности.

— Хосе! — крикнули снова. — Хосе!

Он оглянулся и уловил на их лицах выражение дикого веселья. В его красных глазках не было злобы. Он не имел права обижаться. Он растянул губы в жалкой, растерянной, нескладной улыбке.

И словно этот знак слабости дал им все права, они не таясь заорали ему вслед:

— Хосе! Хосе! Иди спать!

Их тонкие бесстыжие голоса разносились по дворику, а он покорно улыбался и делал им знаки молчать: никто не уважал его ни в доме, ни в городе, ни во всем мире.

Глава III
Река

Капитан Феллоуз громко напевал сам себе, в то время как мотор трещал на носу лодки. Его крупное загорелое лицо походило на карту горного района: разные оттенки коричневого цвета с двумя голубыми озерами — глазами. Он сочинял песенку и, пока плыл, распевал ее своим глухим голосом:

«Еду домой, еду домой, вкусный обед у меня там есть. А в проклятом городе я не желаю есть». Из главного русла он перешел в протоку. Несколько аллигаторов лежало на песке. «Не люблю твою мордашку, рыбешка. Не люблю твою мордашку, рыбешка». Он был счастливым человеком.

С обоих берегов спускались банановые плантации: голос его гудел в знойном воздухе; кроме

этого голоса и шума мотора вокруг — ни звука. Он был совершенно один. Его затопляла мальчишеская веселость: он вдали ото всех делает мужскую работу и ни за кого не отвечает. Только еще в одной стране он чувствовал себя еще счастливее: во Франции военных лет с ее опустошенной землей, изрытой траншеями. Протока, извиваясь, несла лодку все дальше в глубь заболоченных зарослей штата, а в небе неподвижно парил гриф; капитан Феллоуз открыл жестяную коробку и съел бутерброд — нигде так не приятна еда, как на свежем воздухе. Внезапно на него заверещала обезьяна, когда он проплывал мимо нее, и капитан ощутил блаженное единение с природой, — смутное, отдаленное родство со всем миром, бывшее у него в крови; он повсюду был дома. «Вот ловкий чертенок! — подумал он. — Ловкий чертенок!»

Он снова начал петь. Чьи-то слова звучали в его восприимчивой, но ненадежной памяти: «Дай мне жизнь, которую я люблю, хлеб, смоченный в реке под широким звездным небом, охотник вернулся с моря»[11]. Плантации кончались. И вдали на холмах появились неясные темные очертания на фоне неба. Среди болот возникло несколько

[11] Примечания: 11

В «ненадежной памяти» персонажа объединились два стихотворения Р. Л. Стивенсона — «Бродяга» и «Реквием» *(прим. ред.).*

бунгало. Он дома. Его счастье слегка омрачилось легким облачком.

«В конце концов, — подумал он, — человеку хочется, чтобы его встречали».

Он зашагал к своему бунгало. Оно отличалось от других, стоявших вдоль берега, черепичной крышей, мачтой без флага и табличкой на дверях с надписью: «Центрально-Американская банановая компания». На веранде висели два гамака, но поблизости никого не было. Капитан Феллоуз знал, где найти жену, но ждал встречи не с ней. Он с шумом открыл дверь и закричал:

— Папа приехал!

Испуганное худое лицо глянуло на него сквозь москитный полог; его башмаки застучали по полу; миссис Феллоуз отодвинулась под прикрытие белого муслинового полога.

— Ты рада меня видеть, Трикси? — сказал он, а она поспешно изобразила на лице вымученную улыбку.

Это напоминало загадку с классной доской. Нарисуйте одной линией, не отрывая мелка, собаку, а ответ получается — это колбаса.

— Хорошо оказаться дома! — убежденно сказал капитан Феллоуз. Единственное, в чем он был твердо уверен, — это в правильности своих

чувств: любви, радости, печали, ненависти. Он всегда хорошо держался в трудных обстоятельствах.

— На службе все в порядке?

— В порядке! — ответил Феллоуз.

— Вчера у меня была небольшая температура.

— Эх, присмотр за тобой нужен! Теперь все будет хорошо, раз я дома, — сказал он, рассеянно и весело отмахиваясь от разговора о лихорадке, хлопая в ладоши, громко смеясь, в то время как она дрожала под пологом.

— Где Корэл?

— Она с полицейским, — ответила миссис Феллоуз.

— А я надеялся, что она меня встретит, — проговорил он, бесцельно прохаживаясь по спальне, заваленной башмачными колодками; потом до его сознания дошли ее слова. — С полицейским? С каким полицейским?

— Он пришел вчера ночью, и Корэл оставила его ночевать на веранде. Она говорит, что он кого-то ищет.

— Странное дело! *Здесь?*

— Это не простой полицейский, офицер. Корэл говорит, что он оставил своих людей в деревне.

— Тебе надо было бы встать, — сказал он. —

Знаю этих парней, им нельзя доверять. — И добавил неуверенно: — Она еще совсем ребенок.

— Я же тебе говорю: у меня был жар, — простонала миссис Феллоуз. — Я чувствую себя совершенно больной.

— Ты поправишься! Погреешься на солнце, и все пройдет, вот увидишь, раз я теперь дома.

— У меня так болела голова, я не могла ни читать, ни шить. А потом… этот человек…

За спиной у нее вечно стоял ужас. Ее изматывали усилия не оглядываться назад. Она облекала свой страх в разные формы — лихорадки, крыс, безработицы. Но реальная причина — смерть, с каждым годом подбирающаяся к ней все ближе в этом чужом краю, была табу. Все соберут вещи и уедут, а она останется на кладбище, в большом склепе, который никто не будет навещать.

— Пойду взгляну на этого человека, — сказал он и сел на кровать, положив ладонь на ее руку.

У них было нечто общее — какая-то неуверенность в себе.

— Тот итальянец, секретарь босса, отправился… — рассеянно проговорил он.

— Куда?

— К праотцам.

Он чувствовал, как ее рука напряглась. Она

отстранилась от него к стене. Он коснулся табу. Контакт был нарушен, он не мог понять почему.

— Болит голова, дорогая?

— Ты ведь хотел взглянуть на этого человека…

— Да, да, сейчас иду.

Но он не сдвинулся с места, потому что дочь сама вошла. Она стояла в дверях, наблюдая за ними с выражением чрезвычайной ответственности; под ее серьезным взглядом отец с матерью превратились в мальчишку, которому нельзя доверять, и в призрак, облачко, сотканное из страха, которое может рассеяться от малейшего дуновения. Она была очень юной — лет тринадцати — а в этом возрасте многого не боятся: старости, лихорадки, крыс, дурных запахов. Жизнь еще щадила ее; у нее было необыкновенное чувство превосходства. Впрочем, оно уже поуменьшилось… Она делала вид, словно все это не может иметь к ней никакого отношения. Но в действительности она немного сдалась и не ощущала прежней уверенности. Все было как раньше, но одновременно что-то не так. Это делало здешнее солнце: оно лишало ребенка иллюзий. Золотой браслет на худеньком запястье был подобен висячему замку на парусиновых дверях декораций, которые можно прорвать кулаком.

— Я сказала полицейскому, что ты дома.

— Да, да, — сказал капитан Феллоуз. — Ты поцелуешь своего старика отца?

Она торжественно прошла через комнату и поцеловала его в лоб — чисто формально. Он почувствовал ее равнодушие. У нее были другие заботы.

— Я предупредила повара, — сказала она, — что мама не выйдет к обеду.

— Я думаю, дорогая, что тебе надо сделать усилие, — заметил капитан Феллоуз.

— Зачем? — спросила Корэл.

— Ну, просто так…

— Я хочу поговорить с тобой наедине.

Миссис Феллоуз шевельнулась под своим пологом, как бы предоставляя Корэл самой все устроить. Здравый смысл был тем ужасным свойством, которым миссис Феллоуз не обладала, ведь здравый смысл говорил: «Мертвые не могут слышать», или: «Она теперь об этом не узнает», или: «Жестяные венки более практичны».

— Не понимаю, — тревожно сказал капитан Феллоуз. — Почему маме этого не надо слышать?

— Она не захочет это слышать. Это ее только расстроит.

Корэл — он к этому уже привык — на все имела

ответ. Она никогда не говорила, не обдумав; у нее всегда были готовые ответы, но порой они воспринимались им как что-то дикое… Они строились на единственном опыте, которым она обладала, — опыте ее жизни здесь. Болота и грифы, отсутствие сверстников, кроме нескольких деревенских ребятишек с раздутыми от глистов животами, питавшихся всякой дрянью на берегу, словно звереныши. Говорят, ребенок сближает родителей, однако он чувствовал сильнейшее нежелание довериться девочке. Ее ответы могли завести куда угодно. Он украдкой нащупал руку жены под пологом. Вдвоем они были взрослыми. Все это из-за того чужого человека в доме.

— Ты нас пугаешь, — громко сказал он.

— Не думаю, — заботливо сказала девочка. — Не думаю, что *ты* будешь напуган.

Сжав руку жены, он покорно сказал:

— Ну что ж, дорогая, наша дочь уже решила…

— Прежде всего, ты должен поговорить с полицейским. Я хочу, чтобы он ушел. Мне он противен.

— Тогда, разумеется, он должен уйти, — сказал капитан Феллоуз с неуверенным смешком.

— Я это ему и сказала, сказала, что мы не могли отказать ему в ночлеге, потому что он пришел

поздно вечером. Но теперь он должен уйти.

— Но он тебя не послушался?

— Сказал, что хочет поговорить с тобой.

— «Само собой, само собой», — сказал капитан Феллоуз. Ирония была его единственной защитой, но близкие этого не понимали; они понимали только то, что ясно, как алфавит: простое сложение или исторические даты. Он отпустил руку жены и неохотно позволил вывести себя на солнцепек. На веранде стоял полицейский офицер — неподвижная серо-зеленая фигура; он не сделал ни шагу навстречу капитану Феллоузу.

— Что вам угодно, лейтенант, — бодро спросил капитан Феллоуз. Ему пришло в голову, что у Корэл больше общего с этим полицейским, чем с ним самим.

— Я разыскиваю одного человека, — сказал лейтенант. — Получено донесение, что он в этом районе.

— Здесь его быть не может.

— Ваша дочь сказала мне то же самое.

— Ей это известно.

— Он обвиняется в серьезном преступлении.

— Убийство?

— Нет, измена.

— Ах, измена, — протянул капитан Феллоуз,

теряя всякий интерес: измена здесь была делом самым обычным, вроде мелкой кражи в бараке.

— Он священник. Я надеюсь, вы сообщите, если он появится. — Лейтенант немного помолчал. — Вы иностранец, живущий под защитой наших законов. Мы надеемся, что вы отблагодарите нас за гостеприимство. Вы не католик?

— Нет.

— Тогда, я полагаю, вы сообщите нам.

— Разумеется.

Лейтенант стоял на солнце, словно маленький черный вопросительный знак, таящий угрозу; всем своим видом он, казалось, говорил, что не примет от иностранца ничего, даже тени. А то, что он переночевал в нашем гамаке, подумал капитан Феллоуз, лейтенант, видимо, счел чем-то вроде реквизиции.

— Хотите стакан газировки?

— Нет, нет, благодарю вас.

— Что ж, — сказал капитан Феллоуз, — я не могу вам предложить ничего другого, верно? Пить спиртное — тоже измена!

Лейтенант внезапно повернулся на каблуках, словно не мог больше выносить их вида, и зашагал к деревне; его краги и кобура револьвера блестели на солнце. Когда он отошел на некото-

рое расстояние, отец с дочерью увидели, как он остановился и плюнул; это нельзя было назвать вызывающей грубостью — ведь он отошел достаточно далеко и полагал, что его не видно; так он выразил свое презрение и ненависть к чужому образу жизни — к беззаботности, спокойствию, терпимости и самодовольству.

— Не хотел бы я нажить в нем врага, — сказал капитан Феллоуз.

— Он нам, конечно, не доверяет.

— Они никому не доверяют.

— По-моему, — сказала Корэл, — он учуял дичь.

— Они всюду ее чуют.

— А обыск я все равно не дала ему сделать.

— А почему бы и нет? — отозвался капитан Феллоуз. Но потом его смутные мысли приняли другое направление. — Как тебе удалось его остановить?

— Я сказала, что спущу собак и пожалуюсь министру. Он не имеет права!

— Права! — сказал капитан. — Они пекутся о правах для своих расправ. Пусть бы делал обыск!

— Я дала ему честное слово.

Она была такой же непреклонной, как лейтенант. Маленькая, темноволосая и такая неумест-

ная среди банановых рощ. Ее прямота не делала исключения ни для кого; будущее, полное компромиссов, тревог и стыда, было еще далеко; ворота, через которые оно когда-нибудь войдет, были пока заперты. Но теперь в любой момент слово, жест, самый обычный поступок могли открыть и впустить — что? Капитана Феллоуза охватил страх: он сознавал, что слишком любит ее, и это лишало его твердости. Нельзя властвовать над любимым существом — можно только бессильно смотреть, как она несется к сломанному мосту, к взорванным рельсам, к разрушительной старости. Он закрыл глаза. Но он был счастливым человеком и стал напевать.

Корэл сказала:

— Мне не хотелось бы, чтобы такой человек уличил бы меня… во лжи.

— Во лжи? Боже правый! — воскликнул капитан. — Ты хочешь сказать, что ОН здесь?

— Конечно.

— Где?

— В большом амбаре, — мягко пояснила она. — Не могли же мы позволить, чтобы они его схватили!

— Мама знает?

— Нет! Ей я не могу довериться, — с убийствен-

ной прямотой ответила Корэл. Она уже не была в их власти. Они принадлежали прошлому. Лет через сорок они исчезнут, как прошлогодний снег…

— Лучше покажи-ка мне его, — сказал капитан.

Он шел медленно; ощущение счастья по каплям уходило из него, быстрее, чем у человека несчастного: несчастный всегда готов к беде. Она шла впереди него; две ее тонкие косички выгорели на солнце; он впервые осознал, что она в том возрасте, когда мексиканские девушки уже созревают для первого мужчины. Что с ней будет? Он отогнал от себя проблемы, над которыми не хотел думать. Когда они проходили мимо окна спальни, он взглянул на изможденное тело, скрючившееся в одиночестве под москитной сеткой; и с жалостью к себе вспомнил, как был счастлив на реке, когда занимался мужским делом и не думал о других. И зачем только он женился?..

— Нам не следует впутываться в их политику, — заныл он, как ребенок, глядя в безжалостную полудетскую спину.

— Это не политика, — ответила она мягко. — Я знаю, что такое политика. Мы с мамой как раз проходим Реформу.

Она вынула ключ из кармана и отперла большой амбар, в котором хранили бананы до отправки по реке в порт. После яркого света внутри было очень темно. Кто-то испуганно зашевелился в углу. Капитан Феллоуз поднял фонарик и осветил маленького человека в рваном костюме. Он был небрит и жмурился от света.

— Quien es usted?[12] — спросил капитан Феллоуз.

— Я говорю по-английски.

Человек прижимал к себе чемоданчик, словно ожидал поезда и боялся его пропустить.

— Вам здесь нечего делать.

— Конечно, — сказал тот, — конечно.

— Нас все это не касается, мы иностранцы.

— Разумеется, я уйду, — сказал человек; он стоял, словно проштрафившийся солдат, ожидающий решения офицера.

Капитан Феллоуз помедлил.

— Вам лучше уйти в темноте. Ведь вы же не хотите, чтобы вас схватили?

— Конечно…

— Есть хотите?

— Немного, но это не имеет значения, — сказал

---

[12] Примечания: 12
Кто вы? (*исп.).*

человек и добавил с отталкивающим смирением:
— Не окажете ли вы мне большую услугу?

— Какую?

— Немного… бренди.

— Я и так достаточно нарушил из-за вас закон, — сказал капитан Феллоуз. Он вышел из амбара и почувствовал себя выросшим вдвое, оставив согбенную фигурку в темноте среди бананов. Корэл заперла дверь и последовала за ним.

— Что это за религия, — сказал капитан Феллоуз, — клянчить бренди? Бесстыдство!

— Но ведь и ты иногда выпиваешь.

— Милая моя! — сказал капитан Феллоуз. — Когда ты станешь взрослой, ты поймешь разницу между тем, чтобы выпить немного бренди после обеда, и быть пьяницей.

— Может, я принесу ему немного пива?

— Нет, *ты* ничего ему не принесешь.

— Но ведь на слуг положиться нельзя.

Он ощутил бессильную досаду и сказал:

— Видишь, во что ты нас втравила!

Он вернулся в дом, вошел в спальню и стал рассеянно бродить среди обувных колодок. Миссис Феллоуз спала тяжелым сном. Ей снились свадьбы. Один раз она громко сказала: «Фата! Осторожней с моей фатой!»

— Что-что? — спросил он раздраженно. — Что?

Темнота упала, словно занавес. Минуту назад было солнце, и вот оно скрылось. Когда миссис Феллоуз проснулась, была ночь.

— Ты что-то сказал, дорогой?

— Это ты что-то сказала, — отозвался он. — Что-то о фате.

— Я, должно быть, задремала.

— До свадьбы и фаты еще далеко, — сказал он с мрачным удовлетворением. Он подошел и сел на кровать подальше от окна, не желая ничего видеть, ни о чем думать.

Сверчки завели свою песню, а за москитной сеткой светляки летали, как маленькие фонарики. Он положил свою тяжелую руку на тело под простыней, желая подбодрить жену и внушить ей уверенность, и сказал:

— Жизнь у нас сейчас неплохая, Трикси, верно? Совсем неплохая.

Но он почувствовал, как она вся сжалась: слово «жизнь» было запретным; оно напоминало о смерти. Она отвернула лицо к стене, а потом снова в отчаянии повернулась к нему. Фраза «повернуться к стене» тоже была запретной. Так она лежала, охваченная смертельным ужасом, ее страх все разрастался, захватывая все взаимосвя-

зи и целый мир неодушевленных вещей; это было подобно эпидемии. Ни на что нельзя смотреть долго, потому что все таило угрозу… Даже простыня… Она сбросила ее с себя и проговорила:

— Так душно. Так душно…

Обычно счастливый и неизменно несчастная встречали на кровати ночь с чувством недоверия. Они были спутники, отрезанные от всего мира, для которых все бессмысленно, кроме того, что живет в их сердцах; они были как дети, которых уносит карета через безмерное пространство неведомо куда.

С какой-то отчаянной веселостью он начал напевать песенку военных лет; он не желал слышать шагов во дворе, направлявшихся к амбару.

* * *

Корэл положила на землю лепешки и кусок цыпленка и отперла дверь. Бутылку «Сервесы Монтесумы» она держала под мышкой. В темноте снова послышалась испуганная возня.

— Это я, — сказала она, чтобы успокоить его, но фонарик не включила. — Вот пиво и немного еды.

— Спасибо, спасибо.

— Полиция ушла из деревни на юг. Вам лучше

пойти на север.

Он ничего не ответил.

— Что они с вами сделают, если найдут? — спросила она с жестоким любопытством ребенка.

— Расстреляют.

— Вам, наверное, очень страшно? — поинтересовалась она.

Он ощупью направился к двери, ближе к слабому свету звезд.

— Страшно, — сказал он, споткнувшись о связку бананов.

— А вы не можете бежать отсюда?

— Я пытался месяц назад. Пароход отходил, но тут меня позвали.

— Вы были кому-то нужны?

— Я оказался ей не нужен, — сказал он с горечью.

Теперь Корэл могла видеть его лицо на фоне звезд. О таком лице ее отец сказал бы, что оно не внушает доверия.

— Теперь видишь, — сказал он, — насколько я недостоин, раз так говорю.

— Недостоин чего?

Он прижал к себе свой чемоданчик и спросил:

— Какой сейчас месяц? Еще февраль?

— Нет, сегодня седьмое марта.

— Я редко встречал людей, которые знают числа. Через месяц или недель через шесть начнутся дожди. Когда начнутся дожди, — пояснил он, — я буду почти в безопасности. Понимаешь, полиция тогда не сможет передвигаться.

— Дожди для вас лучше? — спросила она: любознательность была у нее в характере. Билль о реформе, битва при Гастингсе и кое-что из французского языка уложились в ее голове, как в копилке. Она хотела иметь точные ответы на все вопросы и жадно их поглощала.

— Ах нет, нет! Дожди означают, что еще шесть месяцев придется жить вот так.

Он обгладывал цыплячью ножку. Девочка ощутила запах у него изо рта. Он был неприятен, напоминал о чем-то, слишком долго лежавшем на жаре.

— Я бы предпочел, чтобы меня схватили, — сказал он.

— Но разве вы не можете, — логично заметила она, — просто выдать себя?

На ее ясные и четкие вопросы у него были такие же ответы.

— Боль! — сказал он. — Самому пойти на такую боль невозможно. Да и мой долг не допустить, чтобы меня схватили. Видишь ли, моего епи-

скопа давно здесь нет. — Им владела курьезная педантичность. — Это мой приход.

Он нашел лепешку и стал жадно есть ее.

— Ситуация! — сказала она важно. Ей было слышно, как он пьет из бутылки.

— Я пытаюсь вспомнить, — проговорил он, — каким счастливым я был прежде.

Светляк, словно фонарик, осветил его лицо, лицо бродяги; что могло когда-то озарять его счастьем?

— В Мехико, — сказал он, — сейчас читают «Бенедиктус»[13]… Там епископ… Как по-твоему, вспоминает ли он хоть иногда?.. Они даже не знают, что я жив…

— Вы, конечно, можете отречься.

— Не понял…

— Отречься от вашей веры, — пояснила она, используя слово из «Истории Европы».

— Это невозможно! — сказал он. — Совершенно невозможно. Я ведь священник. Это не в моей власти.

Девочка внимательно слушала.

— А, это как родимое пятно, — сказала она. Ей было слышно, как он жадно допивал пиво. — Я

---

[13] Примечания: 13

«Благословен Бог» — вечерняя молитва *(прим. перев.).*

могу поискать бренди у папы.

— Нет, нет. Ты не должна воровать.

Он прикончил бутылку: в темноте раздался долгий свистящий звук, должно быть, не осталось ни капли.

— Мне нужно идти, — сказал он. — Немедленно.

— Вы всегда можете вернуться.

— Это не понравится твоему отцу.

— Ему не надо знать, — ответила она. — Я сама позабочусь о вас. Моя комната как раз напротив этой двери. Постучите мне в окно. Давайте условимся о коде, — добавила она серьезно. — Понимаете, может постучаться кто-нибудь другой.

— Мужчина? — спросил он в ужасе.

— Как знать? Кто-нибудь еще, кто скрывается от властей.

— Ты это серьезно? — спросил он в полной растерянности.

— Такое бывает, — ответила она беспечно.

— Уже бывало?

— Нет, но, думаю, будет. Я должна быть наготове. Постучите три раза: два, тире и точка.

Он вдруг по-детски прыснул:

— Как это — тире?

— Вот так…

— То есть просто громко?

— По азбуке Морзе это тире.

Ему было трудно сосредоточиться, и он сказал:

— Ты очень добрая. Помолись за меня.

— Я в это не верю.

— В молитву?

— Я не верю в Бога. Я потеряла веру, когда мне было десять.

— Что ж, — сказал он. — Ну, тогда я буду за тебя молиться.

— Пожалуйста, — отозвалась она покровительственно. — Если вам хочется. Если вы еще придете, я научу вас азбуке Морзе. Это вам пригодится.

— Зачем?

— Когда вы спрячетесь на плантации, я смогу зеркалом сообщать вам данные о передвижении противника.

Он слушал серьезно.

— А тебя не увидят?

— Нет, — сказала она, — я всегда придумаю объяснение.

С неумолимой логикой она отметала все возражения.

— До свидания, дитя мое, — сказал он. Он помедлил у двери. — Если молитва тебя не интересует,

то, может быть, тебе понравится... Я знаю один занятный фокус.

— Фокусы я люблю.

— Для этого нужны карты. У тебя есть?

— Нет.

Он вздохнул:

— Тогда ничего не получится.

У него вырвался легкий смешок, и она почувствовала запах пива у него изо рта.

— Тогда мне остается только молиться за тебя.

— Непохоже, чтобы вы очень боялись.

— Стоит выпить, — ответил он, — и с трусом происходят чудеса. Глоток бренди — и мне сам черт не страшен.

Он споткнулся о порог.

— До свиданья, — сказала она. — Надеюсь, что вы скроетесь.

Слабый вздох отозвался из темноты.

— Если они вас убьют, — сказала она тихо, — я им никогда не прошу, никогда! — Она не задумываясь готова была принять любую ответственность, даже мщение. В этом заключалась ее жизнь.

* * *

С полдюжины плетеных, обмазанных глиной хижин стояло на площади; две из них были разрушены. Вокруг копалось несколько свиней, и старуха с горячими углями переходила от хижины к хижине, зажигая маленький костер в центре каждого дома, чтобы дымом отогнать москитов. В двух хижинах жили женщины, а в третьей свиньи. В самой последней из уцелевших хижин хранился маис и жили старик, мальчик и целое племя крыс. На лужайке стоял старик и следил за тем, как огонь, идя по кругу, мерцал во мраке; это было похоже на ритуал, повторявшийся в один и тот же час в течение всей его жизни; седые волосы, седая жесткая щетина, худые смуглые руки, хрупкие, словно прошлогодние листья, — старик, казалось, пребывал вне времени. Он замер на грани жизни и смерти, и теперь ничто не могло изменить его. Он был старым уже много лет.

На лужайку вышел путник. На нем были городские черные остроносые туфли, но от них остался лишь верх, так что фактически он шел босиком. Обувь его имела чисто символическое значение, как затканные паутиной хоругви в церквах. Одет он был в рубашку и черные рваные брюки, а в

руках нес чемоданчик, точно пассажир пригородного поезда. Он тоже почти достиг состояния вневременности, хотя время оставило на нем свои рубцы — рваная обувь напоминала о другом прошлом, а черты лица выражали надежду на будущее и страх перед ним.

Старуха с углями остановилась между двумя хижинами и наблюдала за незнакомцем. Он приближался к деревенской площади с опущенными глазами, пригнув плечи, будто боясь привлечь чье-то внимание. Старик пошел ему навстречу, взял руку путника и поцеловал ее.

— У вас найдется гамак переночевать?

— Эх, отец! За гамаком надо вам идти в город. Здесь спят на чем придется.

— Ну, ладно. Что-нибудь, чтобы прилечь. А немного выпить у вас не найдется?

— Только кофе, отец. У нас нет ничего другого.

— А немного поесть?

— И еды у нас нет.

— Ну, не важно.

Из хижины вышел мальчик и смотрел на него. Смотрели все. Это напоминало бой быков: животное уже измоталось, и люди ждут, когда оно сделает следующее движение. Сердца их не были жестокими — они смотрели на небывалое зре-

лище: участь, худшую, чем их собственная. Он захромал к хижине. Внутри мрак окутывал все, что выше колен: на полу не было огня, а лишь медленно догорали угли. Жилище наполовину было завалено связками; в его сухих листьях шуршали крысы. На земляной кровати лежала соломенная циновка; два ящика заменяли стол. Путник лег, а старик притворил дверь.

— Здесь безопасно?

— Мальчик будет сторожить. Он знает.

— Вы что, меня ждали?

— Нет, отец, но уже пять лет, как мы не видели священника… Когда-то это должно было произойти.

Он забылся тяжелым сном, а старик сел на пол, пытаясь раздуть огонь. Кто-то постучал в дверь. Священник вскочил.

— Все в порядке, отец, — сказал старик. — Просто вам принесли кофе.

Он поднес ему серый кофе, дымившийся в жестяной банке, но у священника уже не было сил пить. Он лежал на боку совершенно неподвижно; из маиса за ним следили крысы.

— Вчера здесь были солдаты, — сказал старик. Он подул на огонь; поднялся дым и наполнил хижину. Священник закашлялся, и крыса быст-

ро, как тень от руки, юркнула в маис. — Отец, у нас мальчик не крещен. Последний священник, который у нас был, хотел два песо, а у меня было только одно. Теперь осталось только пятьдесят сентаво.

— Завтра… — проговорил священник, изнемогая.

— Отец, а вы утром отслужите обедню?

— Да-да…

— А исповедь, отец? Вы примете наши исповеди?

— Да, но сначала я должен поспать.

Он повернулся на спину и закрыл глаза, чтобы защитить их от дыма.

— У нас нет денег заплатить вам. Другой священник, падре Хосе…

— Тогда дайте мне какую-нибудь одежду, — оборвал он старика.

— Но у нас есть только то, что на себе.

— Возьмите мою в обмен.

Старик с сомнением забормотал что-то про себя, украдкой глядя на освещенную огнем черную рваную одежду.

— Если нужно, отец, — сказал он.

Несколько минут он молча дул на огонь. Священник снова закрыл глаза.

— За пять лет без исповеди так много накопилось.

Священник быстро вскочил:

— Что такое?

— Вы задремали, отец. Если появятся солдаты, мальчик предупредит нас. Я только говорил…

— Дадите вы мне поспать хоть пять минут!

Он снова лег; в одной из женских хижин кто-то пел: «Я пошла на поле, розу там нашла».

— Жаль будет, — сказал старик тихо, — если солдаты придут прежде, чем мы успеем. Нашим бедным душам так тяжело, отец…

Священник заставил себя подняться и прислониться к стене.

— Хорошо! — сказал он в ярости. — Начинайте, я приму вашу исповедь. — В маисе зашевелились крысы. — Идите скорей, не теряйте времени! Когда вы в последний раз?..

Старик опустился на колени у огня, а на другом конце деревенской площади запела женщина: «Я пошла на поле, роза уж завяла…».

— Пять лет назад, — старик остановился и подул на огонь. — Трудно припомнить, отец.

— Грешили вы против целомудрия?..

Священник сел у стены, протянув ноги, а крысы снова забегали в маисе. Дуя на огонь, старик с

трудом перебирал свои грехи.

— Сотвори благое дело покаяния, — говорил священник, — и прочти, прочти… Есть у тебя четки? Тогда прочти «Радостную тайну»[14]. — Глаза его слипались, язык еле ворочался; произнося слова отпущения, он не мог их закончить… вздрогнув, он снова проснулся.

— Можно мне позвать женщин? — сказал старик. — Пять лет…

— Ах, пусть идут! пусть все идут! — закричал священник в ярости. — Я ваш слуга.

Он закрыл глаза рукой и заплакал. Старик открыл дверь. Под огромным сводом звездного неба было не так темно. Он пошел к хижинам, где жили женщины, постучал.

— Идите, — сказал он, — вы должны исповедаться, хотя бы только из уважения к отцу.

Они жалобно отвечали, что устали, это можно сделать утром.

— Вы хотите обидеть его? — сказал старик. — Для чего, думаете, он пришел сюда? Это настоящий святой отец, сейчас он в моей хижине плачет о ваших грехах.

Он выталкивал их из хижин; одна за другой

---

[14] Примечания: 14

Одна из католических молитв, читаемых по четкам *(прим. перев.).*

они направлялись через деревенскую площадь к хижине; а старик пошел по тропинке к реке, чтобы сменить мальчика, который караулил у брода на случай, если появятся солдаты.

Глава IV
Свидетели

Много лет прошло с тех пор, как мистер Тенч в последний раз писал письмо. Он сидел за рабочим столом и сосал стальное перо; ему пришла в голову странная мысль: направить это случайное письмо по своему старому адресу в Саутенд. Почем знать — кто там еще жив? Он попытался начать: это было все равно что растопить лед в компании, в которой ни с кем не знаком. Он стал надписывать конверт: «Миссис Марсдайк для миссис Генри Тенч, Авеню, дом три, Вестклифф». Это дом ее матери: властное, вечно во все вмешивающееся существо; она заставила его повесить свою табличку в Саутенде в ту роковую пору. «Просьба передать», — написал он. Она бы не сделала этого, если бы знала, кто пишет, но она, наверное, уже забыла его почерк.

Он посасывал кончик пера — что писать дальше? Было бы гораздо легче, если бы он писал с

какой-то определенной целью, а не только для того, чтобы сообщить хоть кому-нибудь, что он еще жив. Могло бы получиться неловко, если она вторично вышла замуж. Но в таком случае она бы, не колеблясь, разорвала письмо.

Он написал: «Дорогая Сильвия!» — крупным, ясным, детским почерком, слушая, как на скамье фыркает тигель. Он изготовлял золотой сплав. Поблизости ни в одной лавке нельзя купить материал в готовом виде; и даже в специальных магазинах не было этой пробы золота для зубоврачебных работ, а на лучшие материалы у него нет средств.

Беда в том, что здесь с ним никогда ничего не случалось. Он жил так трезво, респектабельно и правильно, что даже миссис Марсдайк похвалила бы его.

Он взглянул на тигель. Золото уже почти сплавилось с добавками. Так что он подбросил туда ложку древесного угля, чтобы сплав не окислился.

Мистер Тенч снова взялся за перо и задумался над письмом. Он не мог четко припомнить свою жену — только шляпки, которые она носила. Как же она удивится, когда услышит о нем через столько времени; они написали друг другу по

одному письму с тех пор, как умер их малыш. Годы действительно ничего не значили для него — они проходили быстро, не меняя его привычек. Он собирался уехать шесть лет назад, но после революции курс песо упал, и он перебрался на юг. Тут он скопил деньжат, но с месяц назад курс песо опять упал — снова где-то революция. Оставалось одно: ждать… Кончик пера опять оказался между зубов. Память плавилась в этой маленькой жаркой комнате.

Зачем вообще писать? Он уже не мог вспомнить, что внушило ему эту странную мысль. Кто-то постучался в дверь, и он оставил письмо на скамье. «Дорогая Сильвия» безнадежно смотрела вверх крупными, жирными буквами.

С реки донесся звон пароходного колокола. «Генерал Обрегон» возвращался из Веракруса. Это подтолкнуло его память: как будто что-то живое, испытывающее боль, зашевелилось в маленькой передней комнате среди кресел-качалок. «Интересный день… Хотел бы я знать, что с ним сталось, когда…» Затем мысль угасла или ушла; боль была привычна мистеру Тенчу: такова была его профессия. Он настороженно подождал, пока снова постучали в дверь и голос произнес:

— Con amistad[15].

Здесь никому нельзя доверять… Только теперь он отодвинул запор, открыл дверь и впустил пациента.

* * *

Падре Хосе вошел через большие, в классическом стиле ворота с черной надписью «Silencio»[16] в то место, которое народ обычно называл «Садом Божьим». Оно походило на квартал, где никто при строительстве не обращал внимания на архитектуру соседних зданий. Большие каменные надгробия усыпальниц были самой разной величины и формы; кое-где наверху стояли ангелы с замшелыми крыльями; порой через стеклянное окошко можно было разглядеть ржавые железные цветы на полке. Это напоминало кухню, хозяева которой уехали, бросив немытую посуду. Все открыто настежь, всюду можно ходить и рассматривать что угодно. Жизнь ушла из этого места.

Из-за своей тучности он продвигался среди

---

[15] Примечания: 15
Свои *(исп.)*.

[16] Примечания: 16
Молчание *(исп.)*.

могил очень медленно; он мог побыть тут один; вокруг не было детей, и он мог вызвать в себе нечто вроде ностальгии — это лучше, чем совсем не испытывать никаких чувств. Некоторых из этих людей он хоронил сам. Его воспаленные глазки переходили с предмета на предмет. Обогнув громоздкий серый склеп Лопесов — торговая фирма, которой пятьдесят лет назад принадлежал единственный отель в столице, — падре Хосе заметил, что он не один. У кладбищенской стены рыли могилу; двое мужчин делали свое дело торопливо; рядом стояли женщина и старик. У их ног лежал гробик — в этой болотистой почве могилы выкапывались быстро. В яме уже набралось немного воды — вот почему те, кто себе мог это позволить, строили надземные склепы.

На миг люди прекратили работу и посмотрели на падре Хосе; он отступил к склепу Лопесов, словно его появление было неуместным. Казалось, в этот ослепительный, жаркий день нигде не было и признаков горя. На крыше за кладбищем сидел гриф.

— Отец! — раздался чей-то голос.

Падре Хосе в знак протеста поднял руку, словно давая понять, что его здесь нет, что он ушел, что он далеко.

— Падре Хосе! — сказал старик.

Они жадно следили за ним. До того как он появился, они были полностью покорны судьбе, но сейчас заволновались, оживились… Он качал головой и пятился от них.

— Падре Хосе! — повторил старик. — Одну молитву!..

Они выжидающе улыбались ему. К человеческим смертям они давно привыкли, но сейчас среди могил им вдруг улыбнулось счастье: они могут похвастаться, что один член их семьи был предан земле с положенной молитвой.

— Это невозможно, — сказал падре Хосе.

— Вчера был день ее святой, — сказала женщина, словно это могло что-то изменить. — Ей пять лет.

Это была одна из тех болтливых женщин, которые показывают незнакомым фотографии своих детей. Но сейчас она могла показать только гробик.

— Простите меня, — сказал он.

Чтобы поближе подойти к падре Хосе, старик отодвинул гробик ногой; он был крошечный и легкий, казалось, в нем нет ничего, кроме костей.

— Поймите, — сказал старик, — нам не надо

всего отпевания — хотя бы одну молитву! Она была безгрешной.

Это слово прозвучало в маленьком каменном царстве как что-то странное, архаичное, подобно склепу Лопесов, возможное только в этом месте.

— Это против закона.

— Ее звали Анита. Я болела, когда ждала ее, — говорила женщина, словно извиняясь, что ребенок родился слабым, и от этого всем вышло такое беспокойство.

— Закон…

Старик приложил палец к губам:

— Вы можете нам доверять. Только одну молитву! Я ее дед. Это ее мать, ее отец, ее дядя. Вы можете нам доверять.

Но то-то и беда, что он никому не мог доверять. Когда они вернутся домой, кто-нибудь из них обязательно похвастается. Все это время он отходил назад, отмахиваясь пухлой ладонью, мотая головой, и чуть не наткнулся на склеп Лопесов. Он был в страхе, но что-то вроде гордости подступило к его горлу: с ним вновь обращались как со священником, уважительно.

— Если бы я мог, дети мои… — сказал он.

В тот же миг на кладбище воцарилась смертельная тоска. Они привыкли терять детей, но не

привыкли к тому, что хорошо знакомо всему миру, — к гибели надежды. Женщина заплакала без слез, издавая такие звуки, словно что-то душила в себе. Старик упал на колени, простирая руки.

— Падре Хосе! Ведь никого нет, кроме вас…

Казалось, он умолял о чуде. Падре Хосе охватило сильнейшее искушение — рискнуть и прочесть молитву над могилой; он почувствовал огромное желание исполнить свой долг и начертал в воздухе крестное знамение, но затем, подобно отраве, пришел страх. Там, у пристани, его ждали презрение и безопасность, он хотел туда. В отчаянии падре Хосе рухнул на колени и умоляюще сказал:

— Оставьте меня. Я недостоин. Разве вы не видите? Я трус.

Два старых человека стояли на коленях друг против друга среди могил, а маленький гробик лежал в стороне, как забытый повод к этой странной сцене.

Хосе понимал, насколько все это нелепо. Многолетний самоанализ научил его видеть себя таким, каков он есть, — толстым, безобразным, старым и униженным. Казалось, умолк призывный ангельский хор и сменился голосами детей во дворе, еще более визгливыми и гнусными,

чем прежде: «Иди спать, Хосе, иди спать!» Он знал, что был во власти непростительного греха — отчаяния.

* * *

— «И вот наконец, — читала мать, — настал благословенный день, когда для Хуана кончился период послушничества. О, какой же это был радостный день для его матери и сестер; но также и немного грустный, ибо плоть немощна, и они не могли не испытывать легкой печали в сердце, теряя сыночка и старшего брата. Ах, если бы они знали, что в тот день обретают святого, который будет молиться за них на небесах!»

— А у нас тоже есть такой святой? — спросила младшая девочка с кровати.

— Конечно.

— А зачем им был нужен еще один святой?

Мать продолжала чтение:

— «На следующий день вся семья приняла причастие из рук сына и брата. Потом они нежно простились, — не ведая, что в последний раз — с новым воином Христовым и вернулись домой в Морелос. Уже сгущались тучи, и президент

Кальес[17] внес на обсуждение антикатолические законы во дворце Чапультепек[18]. Дьявол был готов обрушиться на бедную Мексику».

— А расстрел скоро будет? — спросил мальчик, ерзая у стены.

— «Хуан, — монотонно продолжала мать, — готовился к предстоящим бедственным дням, всячески умерщвляя свою плоть, и об этом не знал никто, кроме его духовника. Товарищи его ни о чем не подозревали, ибо он, как обычно, оставался душой и сердцем всех веселых бесед, а на празднике основателя Ордена он...»

— Знаю, знаю, — сказал мальчик. — Играл в спектакле.

Девочки изумленно открыли глаза.

— Ну и что ж такого, Луис? — спросила мать, останавливаясь и заложив пальцем страницу запрещенной книги. Он ответил ей угрюмым

---

[17] Примечания: 17

Плуарко Элиас Кальес (1877–1945) — основатель Национально-революционной партии. Крупный помещик. В 1924–1928 гг. — президент. В его правление происходила гражданская война с католиками-«кристеросами». Возродил в Мексике языческие праздники и поддерживал марионеточную иерархию, отделившуюся от Рима. В 1936 г. выслан из страны. Вернулся в 1941 г., но с тех пор к политической деятельности не возвращался *(прим. перев.)*.

[18] Примечания: 18

Правительственное здание в Мехико, ныне исторический музей *(прим. перев.)*.

взглядом. — Ну и что ж такого, Луис? — повторила она. А потом, выждав, продолжала чтение; девочки следили за братом с ужасом и восхищением.

— «Ему разрешили, — читала мать, — поставить маленькую одноактную пьесу, посвященную…»

— Знаю, знаю, — сказал мальчик. — Катакомбам.

Мать, поджав губы, продолжала читать:

— «…посвященную гонениям на первых христиан. Наверное, он вспомнил, как в детстве играл Нерона перед добрым старым епископом. Но теперь он попросил, чтобы ему дали комическую роль — римского продавца рыбы».

— Я не верю ни одному слову, — сказал мальчик с угрюмым раздражением. — Ни одному слову.

— Как ты смеешь?

— Все это слишком глупо.

Девочки оцепенели, глядя на него большими, темными, благочестивыми глазами.

— Ступай к отцу!

— Куда угодно, лишь бы подальше от… этого… этого…

— Скажи ему то, что ты говорил мне!

— …от этого…

— Ступай из комнаты!

Он хлопнул дверью. Отец стоял у зарешеченного окна в гостиной, глядя на улицу. Жуки ударялись о керосиновую лампу и ползали со сломанными крыльями по каменному полу. Мальчик проговорил:

— Мама сказала, чтоб я сказал тебе, что не верю, что книга, которую она читает…

— Какая книга?

— Божественная.

— А, эта! — грустно сказал отец. Прохожих на улице не было. После половины десятого все фонари гасили. — Ты должен понять, — продолжал отец. — Видишь ли. Для нас все кажется конченным. Эта книга напоминает нам детство.

— Она такая глупая!

— Ты не помнишь времени, когда здесь была Церковь. Я был неважным католиком… но она означала… музыку, огни, место, где можно сидеть в прохладе… Ну и для твоей матери это было какое-то занятие. Если бы у нас вместо этого был театр, мы бы не чувствовали себя такими одинокими.

— Но этот Хуан, — сказал мальчик, — выглядит таким дураком…

— Но его убили, не так ли?

— Вилья[19], Обрегон и Мадеро[20] тоже погибли…

— Кто тебе рассказал об этом?

— Мы все в это играем. Вчера я был Мадеро, меня расстреляли на площади за попытку к бегству.

Откуда-то в вечерней духоте раздалась барабанная дробь; гнилой запах с реки наполнил комнату; к нему привыкли, как в городах привыкают к копоти.

— Мы разыгрались, и мне досталось быть Мадерой, Педро — Уэртой. Он бежал в Веракрус по реке. Мануэль преследовал его — он был Каррансой[21].

Отец стряхнул жука с рубахи, глядя на улицу. Марширующие шаги приближались.

---

[19] Примечания: 19

Франсиско Вилья (наст. Имя Доротео Аранго, 1877–1923) — один из вождей Мексиканской революции. Возглавлял ее радикальное крыло. Руководил крестьянскими отрядами, вставшими в оппозицию к правительству. В 1920 году его армия было разгромлена, а вскоре был убит и сам Вилья *(прим. перев.).*

[20] Примечания: 20

Франсиско Индалесио Мадеро (1873–1913) — политический деятель. Учился в Мексике, США, Франции. Работал журналистом. Издавал газету «Новая Мексика». Был сторонником светского режима и националистом. В 1911 г. избран президентом. В результате крестьянского восстания (1912 г.) и переворота (1913 г.) правительство Мадеры пало, а сам он был убит *(прим. перев.).*

[21] Примечания: 21

Викториано Уэрта (1845–1916) — мексиканский государственный и политический деятель, один из главарей реакционного мятежа (февраль 1913 г.) против правительства Мадеро. Захватив власть (президент с февраля 1913 г. по июль 1914 г.), установил диктатуру, выражающую интересы помещиков-латифундистов, клерикалов и реакционной военщины, а также иностранных империалистов. Против реакционной диктатуры Уэрты развернулось массовое движение, в результате которого он сложил с себя полномочия и уехал в Европу. В июне 1915 г. безуспешно пытался поднять восстание против президента Каррансы. Умер в США *(прим. перев.)*.

Венустиано Карранса (1859–1920) — крупный помещик, один из лидеров революции, принадлежавший к ее правому крылу. В 1914 г. был провозглашен временным президентом, а в 1917 г. — президентом. Вел жестокую борьбу с крестьянством и Церковью. Свергнут в результате переворота и убит во время бегства *(прим. перев.)*.

Эмилиано Сапата (1880–1919) — сподвижник Вильи, руководитель левого крыла Мексиканской революции. Требовал проведения земельной реформы. В 1915 г. во главе крестьянских отрядов захватил Мехико, но вскоре был разгромлен правительственными войсками. В 1919 г. был убит агентами Каррансы *(прим. перев.)*.

— Наверное, мама сердится.

— Зато ты нет.

— Что проку? Здесь нет твоей вины. Нас тут бросили.

Прошли солдаты, возвращавшиеся в казармы на холмы, где когда-то стоял собор; несмотря на барабанный бой, они шли не в ногу и выглядели голодными; это были новички. Точно во сне, шли они по темным улицам, а мальчик следил за ними глазами, полными волнения и надежды, пока они не скрылись из виду.

* * *

Миссис Феллоуз качалась в кресле — вперед-назад, вперед-назад.

— «И лорд Пальмерстон сказал, что если греческое правительство поступило несправедливо с доном Пасифико…»

— У меня так болит голова, — сказала она, — я думаю, милая, на сегодня мы должны кончить.

— Ладно, у меня тоже немножко болит.

— Надеюсь, у тебя скоро пройдет. Убери книги.

Тонкие книжонки приходили по почте с Патерностер-роу. Фирма называлась «Домашнее обучение». Программа начиналась разделом: «Чтение без слез» и постепенно доходила до Билля

о Реформе, лорда Пальмерстона и стихов Виктора Гюго. Раз в полгода приходил экзаменационный лист. Мисс Феллоуз тщательно трудилась над ответами Корэл и ставила ей отметки. Она отправляла ответы на Патерностер-роу, и там через несколько недель их регистрировали. Однажды, когда стрельба была в Сапате, она забыла это сделать и получила отпечатанный бланк, начинавшийся словами: «Дорогие родители! К сожалению…» Беда была в том, что они на несколько лет определили программу, оттого что им почти нечего было читать, кроме учебников; соответственно экзаменационные листы тоже отставали на годы. Иногда фирма присылала грамоты с тиснением, которые полагалось вешать на стену; в них извещалось, что мисс Корэл Феллоуз заняла третье место по успеваемости и с отличием переведена в следующий класс. На грамоте стояло факсимиле: Генри Бекли, бакалавр искусств, директор «Домашнего обучения». А порой приходили короткие личные письма, отпечатанные на машинке и с тем же синим расплывчатым факсимиле, гласящие: «Дорогой ученик! На этой неделе тебе следует обратить больше внимания…» и так далее. Письмо обычно опаздывало на шесть недель.

— Сходи, милая, к повару, — сказала миссис Феллоуз. — И закажи завтрак только на себя. Я не в состоянии съесть ни крошки, а папа на плантации.

— Мама, — спросила девочка, — а ты веришь в Бога?

Вопрос перепугал миссис Феллоуз. Резким рывком она качнулась взад-вперед.

— Разумеется.

— Я имею в виду непорочное зачатие и все такое…

— О чем ты спрашиваешь, милая, кто с тобой говорил об этом?

— Я просто думала, вот и все, — сказала Корэл.

Она больше не ждала ответа; она слишком хорошо знала, что его не будет, ей приходилось все решать самой. Генри Бекли, бакалавр искусств, изложил эти вопросы в одном из самых первых уроков. Принять на веру такие вещи нетрудно, не труднее, чем великанов из сказки. А когда ей было десять, она безжалостно отвергла и то, и другое. В то время она начинала учить алгебру.

— Надеюсь, это не твой отец?

— Нет.

Она надела пробковый шлем и вышла искать повара; было десять часов утра, но жара уже

стояла невыносимая. Корэл выглядела более хрупкой и непреклонной, чем когда-либо. Отдав распоряжение, она пошла на склад проверить шкуры аллигаторов, растянутые на стене, а потом в конюшню, посмотреть, в порядке ли мулы. Бережно, словно горку посуды, проносила она через раскаленный двор груз своей ответственности; не существовало вопроса, на который она не могла бы ответить; при ее приближении грифы вяло снялись с места.

Она вернулась в дом к матери и сказала:

— Сегодня вторник.

— Разве, милая?

— Папа отправил бананы на берег?

— Понятия не имею.

Корэл помчалась во двор и позвонила в колокол. Явился индеец.

— Нет, бананы все еще на складе. Не было распоряжения.

— Отправить! — сказала Корэл. — И побыстрее. Скоро будет лодка.

Она достала амбарную книгу отца и начала считать связки, которые выносили. Связка — сотня с небольшим бананов — стоила несколько песо. Потребовалось более двух часов, чтобы опорожнить склад, но кто-то же должен был сделать

эту работу, раз отец забыл! Через полчаса Корэл стала уставать: раньше она никогда не уставала в такой ранний час.

Она прислонилась к стене и обожгла об нее лопатки. Ей не казалось странным, что она находится здесь и занимается таким делом: слово «игра» было лишено для нее смысла. Для жизни требовалось быть взрослой. В одной из первых книжек Генри Бекли была картинка, изображавшая кукольное чаепитие. Смысл церемонии не доходил до нее, как предмет, которого она не учила. Корэл не понимала, зачем нужно притворяться.

— Четыреста пятьдесят шесть, четыреста пятьдесят семь…

Пот непрерывно катился по плечам пеонов, точно струйки воды из душа.

Вдруг она почувствовала резкую боль в животе. Корэл пропустила одного носильщика, однако попыталась выправить счет. Впервые она ощутила свою ответственность как бремя, которое висит на ней слишком много лет.

— Пятьсот двадцать пять…

Это была какая-то новая боль (на этот раз дело не в глистах). Но она не испугала ее, словно тело ждало этой боли, дозрело до нее, как созревает

разум, теряя детскую наивность. Нельзя сказать, что из нее выходило детство: детство было чем-то, чего она никогда не ощущала.

— Все? — спросила Корэл.

— Да, сеньорита.

— Точно?

— Да, сеньорита.

Но она должна была убедиться сама. Прежде Корэл всегда работала охотно — ничего не делалось без нее; но сегодня ей хотелось лечь и уснуть; если не все бананы будут отправлены, виноват будет отец. Она подумала: нет ли у нее температуры — на горячей земле ногам было так холодно.

«Ладно», — подумала она и, перемогая себя, пошла в сарай, отыскала фонарик и включила его. Там, казалось, было совсем пусто. Но она никогда не бросала дело на половине. Корэл прошла к задней стене, держа фонарик перед собой. Откатилась пустая бутылка — она посветила на нее: «Сервеса Монтесума». Затем свет фонарика упал на заднюю стену: внизу, почти у самой земли, кто-то начертил мелом каракули; она подошла ближе: несколько маленьких крестов попало в круг света. Должно быть, он лежал среди бананов и пытался — механически — писать что-то,

чтобы совладать со страхом: это единственное, что занимало его мысли. Девочка стояла со своей новой болью и смотрела на крестики; пугающая новость заполнила собой утро; сегодня все, казалось, было особенным.

* * *

Начальник полиции играл в баре в бильярд, когда его отыскал лейтенант. Лицо шефа было обвязано носовым платком, он надеялся, что это облегчит зубную боль. В момент появления лейтенанта он натирал мелом кий, готовясь к сложному удару. Позади на полках стояли бутылки с содовой и желтым безалкогольным напитком — сидралом. Лейтенант остановился в дверях с недовольным видом: зрелище было позорным; ему хотелось искоренить в штабе все, что могло бы вызвать насмешки иностранцев.

— Могу я поговорить с вами? — спросил он.

Шеф поморщился от внезапной боли и с необычайной прытью поспешил к двери. Лейтенант взглянул на его счет. Его отмечали кольца на веревке, протянутой через комнату. Шеф проигрывал.

— Вернусь, — сказал он и пояснил лейтенанту: — Не хочу открывать рта.

Когда они толкнули дверь, кто-то поднял кий и украдкой отодвинул назад одно из колец начальника.

Они шли по улице рядом: толстый и тощий. Было воскресенье, и магазины закрылись в полдень — только это и сохранилось еще от прежних времен. Колокола нигде не звонили. Лейтенант спросил:

— Вы видели губернатора?

— Да. Вы можете делать все, что угодно, — ответил шеф. — Все, что угодно.

— Он вам разрешил?

— На одном условии. — Шеф снова поморщился от боли.

— Каком?

— Если не поймаете его до дождей, отвечать будете вы.

— Если я отвечаю только за это… — мрачно проговорил лейтенант.

— Сами напросились.

— Я доволен.

Лейтенанту казалось, что все, чем он дорожит, брошено теперь к его ногам. Они миновали новое здание Синдиката рабочих и крестьян. В его окне были помещены два издевательских плаката: на одном священник ласкает женщину в испо-

ведальне, а на другом — потягивает церковное вино.

— Скоро мы сделаем эти картинки ненужными, — сказал лейтенант. Он посмотрел на плакаты глазами иностранца: они показались ему варварскими.

— Почему? Они забавны, — сказал шеф.

— Придет день, когда забудут, что здесь когда-то существовала Церковь.

Шеф ничего не ответил. Лейтенант знал, что начальник считает все это чепухой.

— Какие будут приказания? — спросил он резко.

— Приказания?

— Вы мой начальник.

Шеф молчал. Он следил за лейтенантом хитрыми глазками.

— Вы знаете, что я вам доверяю. Действуйте, как считаете нужным.

— Вы дадите письменное подтверждение?

— Нет необходимости. Мы друг друга знаем.

Всю дорогу они препирались из-за полномочий.

— Вам губернатор дал какое-нибудь письменное распоряжение?

— Нет, он сказал, что мы друг друга знаем.

Лейтенант уступил, потому что из них двоих он один был заинтересован в этом деле. К своей карьере он относился равнодушно.

— Буду брать заложников в каждой деревне, — сказал он.

— Тогда он не будет останавливаться в деревнях.

— Вы что, воображаете, будто они не знают, где он? — ядовито проговорил лейтенант. — Он должен встречаться с ними, иначе каков для него смысл во всем этом!

— Действуйте, как знаете.

— Я буду расстреливать столько, сколько потребуется.

— Немного крови никогда не повредит, — ответил шеф с напускной гордостью. — Откуда начнете?

— Думаю, с его прихода, с Консепсьона. А потом, вероятно, с его родных мест.

— Почему оттуда?

— Там он, скорее всего, считает себя в безопасности. — Лейтенант мрачно шагал мимо закрытых магазинов. — Пусть погибнет несколько человек, дело стоит того, но, как вы думаете, поддержит меня губернатор, если в Мехико поднимут шум?

— Вряд ли, — сказал шеф. — Но это то, чего… —

Он остановился от приступа боли.

— Это то, чего я хотел, — сказал лейтенант.

Он направился к полицейскому участку один, а начальник вернулся в бильярдную. На улице было мало народу: слишком жарко.

«Если бы только у нас имелась хорошая фотография», — думал лейтенант. Он хотел знать, как выглядит его враг.

Пустой площадью завладела стайка детей. Они играли в какую-то непонятную, сложную игру — стенка на стенку: пустая бутылка из-под газировки пролетела по воздуху и разбилась у ног лейтенанта. Рука его невольно потянулась к кобуре, он повернулся и увидел ужас на лице мальчика.

— Ты бросил бутылку?

Серьезные карие глаза впились в него.

— Чем вы занимаетесь?

— Это бомба.

— Ты в меня ее бросил?

— Нет.

— А в кого?

— В гринго.

Лейтенант улыбнулся непривычным движением губ.

— Это хорошо, но надо целиться лучше.

Он оттолкнул разбитую бутылку на дорогу и стал подыскивать слова, чтобы дети поняли, что он их союзник.

— Наверное, этот гринго, — сказал он, — один из тех богатых янки, которые… воображают… — он заметил выражение преданности на лице мальчугана; нужно было как-то откликнуться на это, и лейтенант ощутил в сердце нечто вроде печальной, неутоленной любви.

— Поди сюда! — сказал он.

Ребенок приблизился в то время, как его испуганные товарищи стояли полукругом и смотрели с безопасного расстояния.

— Как тебя зовут?

— Луис.

— Так, — сказал лейтенант, не находя нужных слов. — Ты должен научиться хорошо целиться.

— Я очень бы хотел! — горячо сказал мальчуган. Его глаза были прикованы к кобуре.

— Хочешь посмотреть мое оружие? — спросил лейтенант. Он вытащил из кобуры тяжелый револьвер и протянул его. Дети осторожно приблизились.

— Вот предохранитель. Спусти его! Теперь он готов к стрельбе.

— Он заряжен?

— Он всегда заряжен.

У мальчика высунулся язык. Он сглотнул: у него потекли слюнки, как от запаха пищи. Теперь все они стояли ближе. Один из мальчиков протянул руку и осмелился тронуть кобуру. Дети окружили лейтенанта плотным кольцом. Их робкая радость обступала его со всех сторон, когда он прятал револьвер в кобуру.

— Как он называется?

— Кольт-38.

— Сколько в нем пуль?

— Шесть.

— Вы из него кого-нибудь убивали?

— Пока нет.

От любопытства дети затаили дыхание. Положив руку на кобуру, лейтенант стоял и всматривался в терпеливые карие глаза; это были те, за кого он боролся. Он хотел освободить их детство ото всего, что сделало несчастным его самого, — от нищеты, суеверий, пороков. Они заслуживали правды — правды о пустой, остывающей Вселенной и права выбирать то счастье, какое захотят. Он был вполне готов истребить ради этого сначала Церковь, потом иностранцев, затем — политиканов, а в один прекрасный день — даже своего шефа. Он хотел начать строить с

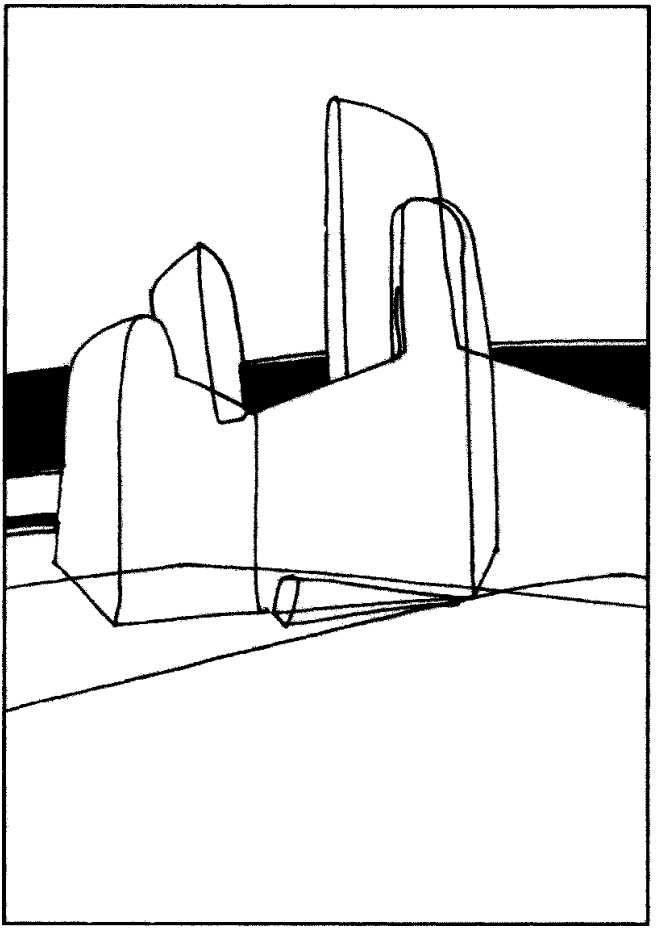
ними новый мир на пустом месте.

— Я хочу… я хочу, — проговорил Луис, словно его желание было таким огромным, что для него не находилось слов.

Лейтенант протянул руку и коснулся мальчика, желая его приласкать, но он не знал, как это делается. Он ущипнул Луиса за ухо и увидел, как тот дернулся от боли; дети разлетелись, точно птицы. А он одиноко зашагал к полицейскому участку — маленький, щеголеватый, полный ненависти, скрывающий свою тайную любовь. На стене в участке гангстер так же упорно глядел на праздник Первого причастия. Кто-то обвел голову священника чернилами, чтобы выделить его среди девичьих и женских лиц; в этом нимбе усмешка на лице казалась непереносимой.

— Есть тут кто-нибудь? — крикнул лейтенант в раздражении. Потом он сел к столу и тут же услышал, как приклад винтовки заскреб об пол.

Часть вторая



Глава I

Мул, на котором ехал священник, внезапно сел под ним; это было неудивительно: им пришлось тащиться по лесу около двенадцати часов. Они двигались на запад, но слух о солдатах заставлял их повернуть на восток; там орудовали красно-рубашечники, так что пришлось направиться на север, пробираясь через болота, ныряя в сумрак красных деревьев. Теперь оба они выдохлись, и мул просто сел. Священник слез с седла и рассмеялся. Он чувствовал себя счастливым. Это одно из тех странных открытий, которые делает человек на протяжении своей жизни: какой бы она ни была, в ней есть радостные минуты; всегда можно сказать, что бывает хуже, даже в опасности и беде маятник продолжает качаться.

Он осторожно вышел из леса на заболоченную лужайку; весь штат был таким: река, болото, лес; при свете заходящего солнца он опустился на колени и умыл лицо из бурой лужи, которая, словно черепок обливного кувшина, отразила его круглую, заросшую, исхудавшую физиономию. Она была столь непривычна, что священник улыбнулся — робко и смущенно, как человек,

застигнутый врасплох. В прежние времена он часто отрабатывал жесты перед зеркалом и поэтому знал свое лицо, как знает актер. Это был род смирения — свое собственное лицо он считал неподходящим: лицо паяца, пригодное для того, чтобы безобидно шутить с женщинами, но у алтаря неуместное. Он тогда старался изменить его, а сейчас подумал: мне это удалось, они меня теперь ни за что не узнают. Радость охватила его, как хмель бренди, суливший временное избавление от страха, одиночества и многого другого. Присутствие солдат толкало его идти в то самое место, куда ему хотелось больше всего. Шесть лет он избегал его, но теперь не слабость, а долг вел туда — и это нельзя было считать грехом.

Он тихонько толкнул мула.

— Вставай, мул! Вставай.

Маленький, изможденный, в рваной крестьянской одежде, впервые после многих лет, он возвращался домой, словно обычный человек.

В любом случае, даже если бы он мог идти на юг и миновать деревню, это была бы еще одна капитуляция. Прошедшие годы были отмечены рядом мелких капитуляций. Сначала он опускал праздничные и постные дни, потом почти перестал

заглядывать в бревиарий[22] и в конце концов потерял его в порту во время одной из попыток бежать. Потом пришла очередь алтарного камня[23]: слишком опасно было его держать, а без него он не имел права служить литургию. Наверное, он подлежал взысканию, но церковная кара казалась чем-то нереальным в штате, где единственная гражданская мера наказания — смерть. Его образ жизни, ставший привычным, походил на треснувшую плотину, через которую просачивается забвение и смывает то одно, то другое. Пять лет назад он открыл путь непростительному греху — отчаянию, но теперь возвращался туда, где оно родилось, со странно легким сердцем, ибо перешел рубеж самого отчаяния. Он знал, что был плохим священником. Для таких, как он, у людей было прозвище — «поп-пропойца», но все падения улетучивались у него из головы; груз его проступков накапливался где-то втайне. «Когда-нибудь, думал он, они окончательно заглушат источник благодати». Пока же он продолжал нести этот груз, с приступами страха и усталости,

---

[22] Примечания: 22

Молитвинник для священника *(прим. перев.).*

[23] Примечания: 23

Плоский камень, на котором католические священники служили литургию (до недавней богослужебной реформы) *(прим. перев.).*

с беспечным легкомыслием.

Разбрызгивая грязь, мул перешел поляну, и они снова углубились в лес. То, что священник больше не отчаивался, конечно, не значило, что проклятие с него снято — просто тайна постепенно становилась слишком непостижимой: проклятый влагал в уста людям тело Господне. Странный служитель Божий, принадлежащий дьяволу. Голову его наполняла наивная мифология: архангел Михаил, облаченный в латы, поражал дракона, и ангелы низвергались в пространство, словно кометы, с прекрасно струящимися волосами, за то, что испытывали зависть к людям, которым, по словам одного из Отцов Церкви, Бог даровал необычайную привилегию жизни — *этой* жизни.

* * *

Показались признаки жилых мест: пни, зола от костров там, где очищали место под посевы. Он перестал подгонять мула и ощутил странную робость… Из хижины вышла женщина и принялась наблюдать, как он тащился по тропинке на усталом муле. Крохотная деревня — не больше двух дюжин домов вокруг пыльной площади — имела самый заурядный вид, но сердцу священника

она была дорога. Он почувствовал себя в безопасности, он был уверен, что здесь его примут хорошо, был уверен, что хотя бы один человек не выдаст его полиции. Когда он приблизился, мул снова сел. На сей раз ему пришлось скатиться на землю, чтобы не упасть. Он поднялся, а женщина наблюдала за ним, словно перед нею был враг.

— А, Мария! — сказал он. — Как поживаешь?

— Хорошо. Это вы, отец? — воскликнула она.

Он не смотрел на нее. Его взгляд был уклончивым и настороженным.

— Ты узнала меня?

— Вы изменились. — С некоторым презрением она оглядела его с ног до головы. — Давно это вы стали ходить в такой одежде, отец?

— Уже неделю.

— А куда вы девали свою?

— Обменял.

— Зачем? Это была хорошая одежда.

— Она была совсем рваная и бросалась в глаза.

— Я бы ее починила и спрятала. Жаль, вы выглядите как простой человек.

Он улыбнулся, глядя в землю, пока она распекала его, словно экономка; это было совсем как в те старые дни, когда на свете существовали пресвитерий, собрание «Детей Девы Марии» и

других обществ, приходские сплетни, кроме, разумеется, того…

— А как Бригитта? — спросил он тихо, не глядя на нее, с неловкой улыбкой. При этом имени у него заколотилось сердце: неизмеримые последствия может иметь грех — шесть лет прошло с тех пор, как он не был дома.

— Ей не хуже, чем всем нам. Чего вы еще ждали?

Ему бы нужно было почувствовать удовлетворение, но это было связано с его грехом, а он не имел права радоваться ничему, что относится к тому греху, к тому прошлому.

— Это хорошо, — проговорил он рассеянно, в то время как сердце его трепетало от этой тайной мучительной любви. — Я очень устал. Около Сапаты полиция чуть было…

— А почему вы не отправились в Монтекристо?

Он метнул на нее тревожный взгляд. Не такой встречи ждал он; кучка людей собралась между хижинами, смотря на него с безопасного расстояния — там стояла маленькая сгнившая эстрада и один-единственный ларек с газировкой; люди вынесли стулья, чтобы посидеть вечерком. Никто не подошел поцеловать его руку и взять благо-

словение. Казалось, грех довел его до крайнего падения; теперь, кроме одиночества и отчаяния, он узнал, что человек может быть нежеланным в своем собственном доме. «Здесь побывали краснорубашечники», — подумал он.

— Что ж, отец, прогнать мы вас не можем, — сказала женщина. — Пойдемте.

Он покорно последовал за ней и чуть не упал, запутавшись в длинных крестьянских штанах; выражение счастья погасло на его лице, осталась лишь улыбка, как обломок кораблекрушения. Их было тут семь или восемь мужчин, две женщины и с полдюжины детей; он прошел среди них, словно нищий. Невольно ему вспомнилось последнее посещение… энтузиазм, тыквенные бутылки со спиртным, вырытые из земляных ям… тогда его вина была еще свежей, однако как его встречали! Словно он вернулся к ним, в отвратительную тюрьму, как один из них — вроде эмигранта, возвращающегося на родину богачом.

— Это отец, — сказала женщина.

«Может быть, они меня не узнали», — подумал он, ожидая приветствия. Они подходили один за другим, целовали его руку и, отступив в сторону, смотрели на него.

— Рад вас видеть, — сказал он и хотел добавить:

«дети мои», но потом решил, что только человек, у которого нет детей, может называть других своими детьми. Теперь к его руке один за другим подходили действительно дети, побуждаемые родителями. Они были слишком юны, чтобы помнить те минувшие дни, когда священники носили черную одежду с белыми воротничками и у них были гладкие, барские, покровительственные руки. Детей удивляли знаки внимания, которые их родители оказывали такому же крестьянину, как и они. Он не смотрел на них прямо, но тем не менее внимательно наблюдал за ними. Среди них были две девочки — одна тощая, блеклая, пяти-шести-семи лет? — он не мог определить. Другой голод придал колючий облик дьявольской злобы, несвойственной ее возрасту. Из детских глаз проглядывала женщина. Он смотрел, как они расходились, не проронив ни слова; они были чужими друг другу.

Один из мужчин спросил:

— Вы здесь долго пробудете, отец?

— Я надеялся, быть может… отдохнуть… несколько дней…

— А вы не могли бы, отец, податься севернее, в Пуэблито? — спросил другой мужчина.

— Мы шли двенадцать часов, мул и я…

— Конечно, он переночует здесь, — вдруг сердито решила за него женщина. — Уж это мы можем сделать.

— Утром я отслужу для вас обедню, — сказал он, словно предлагая им взятку. Но судя по их угрюмым, недовольным лицам, это было вроде ворованных денег. Кто-то сказал:

— Если вы не против, отец, хорошо бы пораньше… Лучше всего ночью.

— Что со всеми вами случилось? — спросил он. — Чего вы боитесь?

— Разве вы ничего не слышали?..

— О чем?

— Они теперь берут заложников из всех деревень, где, как они думают, вы появляетесь. А если люди не доносят… Тогда кого-нибудь расстреливают… и тогда они берут другого заложника. Так было в Консепсьоне.

— В Консепсьоне? — У него сильно задергалось веко: так просто тело выражает тревогу и отчаяние. — Кого? — крикнул он гневно.

Все тупо смотрели на него.

— Кого они убили?

— Педро Монтеса.

У него вырвался короткий звук, похожий на собачий лай, — нелепое выражение горя. Старо-

образная девочка засмеялась.

— Почему они не берут меня?! Идиоты, — сказал он. — Почему они не берут *меня*?

Девочка снова засмеялась. Он смотрел на нее и не видел, как если бы слышал голос, но не смог разглядеть лица. Счастье умерло еще раз, так и не успев сделать первого вздоха; он походил на женщину с мертворожденным ребенком — надо схоронить побыстрее, забыть и начать все сначала, быть может, следующий выживет.

— Понимаете теперь, отец, почему… — сказал мужчина.

Он стоял, словно обвиняемый перед судьями.

— Вы что же, хотите, чтобы я поступил, как… как падре Хосе в столице?.. вы ведь о нем слышали?..

— Конечно, не хотим, отец, — ответили они не слишком уверенно.

— Я так и думал. Ни вы, ни я этого не хотим. — Затем он сказал твердо и властно: — Сейчас я посплю. Можете разбудить меня за час до рассвета… За полчаса я приму ваши исповеди… потом — обедня, и я уйду.

Но куда? В этом штате нет деревни, которая могла бы принять его, не подвергая людей опасности.

— Сюда, отец. — сказала женщина.

Он последовал за нею в маленькую комнату, где вся мебель была сделана из ящиков: стул, кровать, сбитая из досок, покрытых соломенным матрацем, ящик, застланный куском материи, на котором стояла керосиновая лампа.

— Не хочу никого стеснять, — сказал он.

— Это моя комната.

Он взглянул на нее с колебанием.

— А ты где будешь спать? — Он боялся, что она скажет: здесь. Он украдкой наблюдал за ней. Неужели в этом и состоит весь брак — уклончивость, подозрительность, неловкость? Когда люди исповедовались ему в своих страстях, неужели они имели в виду только это? Жесткую постель, деловитую женщину и умолчание о прошлом?..

— Я лягу спать, когда вы уйдете.

За лесом угасал свет, и длинные тени деревьев протянулись к двери. Он лег на кровать, а женщина принялась хлопотать где-то поблизости: он мог слышать, как она раскапывает земляной пол. Уснуть он не смог. Не велит ли теперь долг бежать? Он столько раз пытался, но всякий раз ему не давали… а теперь они хотят, чтобы он уехал. Никто не остановит его, говоря, что больна женщина или умирает мужчина. Теперь он сам

был точно болезнь.

— Мария! — окликнул он. — Мария, ты что делаешь?

— Я припасла немного бренди для вас.

«Если я уеду, — подумал он, — я встречусь с другими священниками, исповедуюсь, почувствую раскаяние и получу отпущение грехов; для меня снова откроется вечная жизнь. Церковь учила, что для каждого первый долг — спасение собственной души». Несложные мысли об аде и рае шевелились в его мозгу; жизнь без книг, без общения с образованными людьми выветрила из его памяти все, кроме простейших понятий об этой тайне.

— Вот, — сказала женщина. Она принесла пузырек из-под лекарства, в который было налито спиртное.

Если он покинет их, они будут вне опасности и избавятся от такого дурного примера, как он. Он был единственным священником, которого знали дети; от него они получают представление о вере. И все же он дает им Божественное Причастие. Если же он уйдет, Бог словно перестанет существовать для всего этого пространства — от моря до гор. Разве не его долг остаться, даже если его презирают, даже если из-за него их убьют?

Даже если его пример служит соблазном? Его подавляла безмерность этой проблемы; он лежал, закрыв глаза руками; на всей этой широкой заболоченной равнине не было ни единого человека, к которому он мог бы обратиться за советом. Он поднес к губам бренди.

— А Бригитта… здорова? — смущенно спросил он.

— Вы ее нынче видели.

— Не может быть! — Он был не в силах поверить, что не узнал ее. Вот что значит легкомысленное отношение к смертному греху; совершать подобное, а потом даже не узнать…

— Да, она там была. — Мария подошла к двери и позвала:

— Бригитта, Бригитта!

Священник повернулся на кровати и смотрел, как из мира страха и порока входит она — маленькое, злобное дитя, которое смеялось над ним.

— Иди поговори с отцом, — сказала Мария, — иди сюда.

Он попытался спрятать бренди, но было некуда… Он попробовал прикрыть его руками и смотрел на девочку, потрясенный могуществом земной любви.

— Она выучила катехизис, — сказала Мария, —

но не хочет отвечать…

Девочка стояла и с презрением проницательно смотрела на него. Она была зачата без любви: только страх, отчаяние, полбутылки бренди и чувство одиночества заставили его совершить этот проступок, который ужасал его; а результатом была эта робкая, стыдливая, неодолимая любовь.

— Почему же? Почему бы тебе не ответить катехизис? — спросил он, украдкой поглядывая на нее, избегая ее пристального взгляда и чувствуя, что его сердце колотится с перебоями, словно старый мотор, в отчаянном желании уберечь ее от всего.

— А зачем?

— Бог этого хочет.

— Почем вы знаете?

Он ощутил великое бремя ответственности, неотличимое от любви. «Должно быть, — подумал он, — это чувствуют все родители: вот так и идут по жизни простые люди, в страхе складывая руки, прося избавить от страдания… Именно от ответственности мы убегаем, пытаясь отделаться ничтожным жестом».

Разумеется, он годами нес ответственность за души, но то было другое… то было легче. Можно

доверять Богу, надеясь на Его прощение, но нельзя доверять оспе, голоду, мужчинам…

— Родная моя! — сказал он, сжимая бутылку с бренди.

Он крестил дочь, когда был здесь в последний раз: она была похожа на тряпичную куклу, со сморщенным старческим личиком, — казалось, долго она не протянет… Он не ощущал ничего, кроме горечи: даже стыдиться было трудно там, где его никто не осуждал. Он был единственным священником, известным большинству из них — от него они получали представление о священстве. Все, даже эти женщины.

— Вы гринго?

— Какой гринго?

— Глупая тварь, — сказала женщина. — Она говорит так, потому что полиция искала тут одного человека.

Странно было слышать, что, кроме него, им нужен еще кто-то.

— А что он сделал?

— Он янки. Убил несколько человек на севере.

— А почему его ищут здесь?

— Они думают, он подался в Кинтана Ру, на каучуковые плантации.

Этим кончали многие мексиканские преступ-

ники. Работая на плантациях, можно хорошо заработать, и никому до вас не было дела.

— Вы гринго? — повторила девочка.

— Разве я похож на убийцу?

— Не знаю.

Если он покинет штат, придется бросить и ее, оставить на произвол судьбы. Он робко спросил:

— Нельзя ли мне побыть здесь несколько дней?

— Это слишком опасно, отец.

Он поймал выражение глаз ребенка, которое его испугало — ему опять показалось, что перед ним преждевременно повзрослевшая женщина, у которой свои расчеты и которая слишком много познала. Словно это смотрел на него его собственный нераскаянный грех. Он попробовал наладить с ней контакт — не с женщиной, а с ребенком — и спросил:

— Милая, расскажи мне, в какие игры ты играешь…

Девочка хихикнула. Он быстро отвернулся и стал смотреть на потолок, где ползал паук. Он вспомнил поговорку, она всплыла из глубины его детства, ее употреблял отец: «Лучший запах — запах хлеба, лучшая приправа — соль. Лучшая любовь — детская». Его-то детство было счаст-

ливым. Омрачало лишь то, что он чрезмерно боялся бедности, ненавидел ее, словно преступление; он верил, что, став священником, будет богатым и уважаемым — это называлось «иметь призвание». Он думал: какой долгий путь проходит человек, от первого детского волчка до этой постели, где он лежит, сжимая в руках бутылку с бренди. А для Бога это одно мгновение. От первого смертного греха до хихиканья этого ребенка проходит время, равное мгновению ока. Он протянул руку, словно силой хотел вытащить девочку из чего-то и не мог. Мужчина или женщина, которым предстоит развратить ее окончательно, может, еще не родились на свет: как мог он оградить ее от того, что не существует?

Она отскочила и показала ему язык.

— Вот чертовка! — сказала женщина и замахнулась.

— Не надо, — сказал священник. — Не надо. — Он с трудом сел. — Не смей…

— Я ее мать.

— Мы не имеем никакого права.

Он повернулся к девочке:

— Если бы только у меня были карты, я показал бы тебе пару фокусов. Ты могла бы научить своих друзей…

Он никогда не знал, как говорить с детьми, разве что с амвона. Она вызывающе смотрела на него.

— Ты умеешь посылать сигналы стуком: тире, точка, тире?

— Вы что, отец? — воскликнула женщина.

— Это детская игра, я знаю. — Он спросил у девочки: — Ты с кем-нибудь дружишь?

Она вдруг снова понимающе засмеялась. Семилетнее существо напоминало карлицу: уродливая зрелость таилась в нем.

— Пошла прочь, — сказала женщина. — Пошла, а то я тебе покажу.

Та сделала последний грубый, непристойный жест и ушла. Для него, быть может, навеки. С теми, кого любишь, не всегда прощаешься у смертного ложа, неторопливо, кадя ладаном.

— В самом деле, — сказал он, — чему *мы* можем ее научить?

Он думал о том, что умрет, а ее жизнь будет продолжаться; быть может, его муки ада и будут состоять в том, что ему придется следить, как она с годами постепенно катится вниз, навстречу ему, зараженная его недугом, будто туберкулезом. Он лежал на постели, отвернувшись от меркнущего света. Казалось, он спит, но сна не было. Женщи-

на возилась по хозяйству, а когда солнце село, появились москиты, стремящиеся точно к своей цели, как ножи, которые бросают матросы.

— Повесить сетку, отец?

— Нет, это не важно.

За последние десять лет у него было больше приступов лихорадки, чем он мог сосчитать; его это больше не тревожило: приступы начинались и проходили, а он не обращал внимания — они были частью его жизни.

Вскоре Мария вышла из хижины; он слышал, как она болтает с кем-то на улице. Ее уклончивость удивляла и приносила некоторое облегчение; однажды, семь лет назад, в течение пяти минут они были любовниками — если только можно назвать этим словом их отношения, при которых она ни разу не назвала его по имени; для нее это просто эпизод, царапина, которая быстро заживает на здоровом теле. Она даже гордилась тем, что была женщиной священника. Только он один унес рану, словно вокруг все вымерло.

* * *

Было темно: никаких признаков утренней зари. Десятка два людей сидели на земляном полу в самой просторной из хижин; он говорил

проповедь; лиц их он не мог различить. Дым от свечи на ящике поднимался прямо вверх — дверь заперли, и воздух был неподвижен. Он говорил о Небе, стоя между людьми и свечами, в оборванных крестьянских штанах и рваной рубахе. Они вздыхали и беспокойно ерзали; он знал: им хотелось, чтобы литургия кончилась поскорее. Они разбудили его очень рано из-за слухов о полиции… Он говорил:

— Один из Отцов Церкви учит нас, что радость всегда связана со страданием. Страдание — часть радости. Если мы голодны, то думаем: как хорошо будет в конце концов поесть. Если мы хотим пить… — он внезапно остановился и стал вглядываться в темноту, ожидая злобного смеха, но его не было. — Мы ограничиваем себя, чтобы получить удовольствие. Вы, наверное, слышали о богачах на севере, которые специально едят пересоленную пищу, чтобы усилить жажду и пить то, что они называют коктейлем. Так же и перед свадьбой бывает помолвка… — он снова остановился и подумал о своих грехах; язык прилип к небу. В невыносимой ночной жаре пахло тающим воском; люди ерзали на жестком полу в полумраке. Запах немытых человеческих тел смешивался с запахом воска. Он заставил себя

продолжать и воскликнул громко и уверенно:

— Вот почему я говорю вам, что Небо близко; страдание причастно Небу, как боль — радости. Молитесь, чтобы вам страдать еще и еще. Никогда не уставайте страдать. Полиция следит за вами, солдаты берут налоги, вас бьет начальник, потому что вы слишком бедны, чтобы заплатить; оспа, лихорадка, голод… все это причастно Небу — приготовление к нему. Как знать, может, без всего этого Небо не будет для вас таким желанным. Не будет иметь такой полноты. А Небо… Что такое Небо? — Заученные фразы, пришедшие из жизни, которая теперь казалась недостижимо далекой, — размеренной, спокойной жизни в семинарии — застряли у него в горле. Названия драгоценных камней: Золотой Иерусалим? Но эти люди никогда не видели золота.

Запинаясь, он продолжал:

— Небо — это когда… нет начальников, нет несправедливых законов, нет налогов, нет солдат и голода… не умирают ваши дети…

Дверь хижины приоткрылась и тихонько вошел человек. Оттуда, куда не достигал свет свечей, донесся шепот.

— Там нет ни страха, ни опасности. Нет краснорубашечников. Нет старости. Не бывает

неурожайных лет… Так легко говорить о том, чего *нет* на Небе; а есть там — Бог. Об этом сказать труднее. Наши слова могут описать только то, что мы познаем с помощью чувств. Мы говорим «свет», но думаем только о солнце, говорим «любовь»… — сосредоточиться было нелегко. Полиция уже рядом. Быть может, этот человек принес сообщение… — Говорим «любовь», но имеем в виду ребенка.

Дверь снова открылась. Он увидел рассвет нового дня. Словно в дверь вставили серую доску. Настойчивый голос шепнул ему:

— Отец!

— Да?

— Полиция близко, в миле отсюда, идут через лес.

Он привык к этому: слова не достигают цели, нужно спешно кончать, угроза страданий становится между ним и его верой.

— Помните это прежде всего, — продолжал он упорно. — Небо рядом… (Пешие они или конные? Если пешие, то у него еще осталось двадцать минут, чтобы закончить литургию и скрыться). — Здесь в эту минуту ваш и мой страх причастны Небу, где не будет страха во веки веков…

Он повернулся к ним спиной и стал очень

быстро читать «Верую». Ему случалось служить литургию с поистине физическим ужасом. Так было, когда он в первый раз принял Тело и Кровь Господни в состоянии смертного греха; но потом жизнь подсказала оправдание — вскоре ему стало казаться, что не так уж важно, проклят он или нет, если только эти люди…

Он поцеловал верх ящика и повернулся благословить их. В неверном свете ему были видны только двое мужчин, которые преклонили колени и простерли руки крестом — они стояли так, пока не совершилось освящение Даров; еще одно самоумерщвление в их и так трудной и мучительной жизни. Он ощутил, что стоит ниже этих простых людей, ибо они несли страдание добровольно, а он вынужденно.

— Я любил, Господи, красоту дома Твоего…

Свечи чадили, люди переминались, стоя на коленях — и странное чувство счастья возникло в нем, прежде чем вернулась тревога. Словно ему было дано взглянуть на обитателей Неба. Небо должно быть населено именно такими лицами, на которых запечатлелись страх, верность, голод. На миг он почувствовал огромное удовлетворение от того, что может говорить им о страданиях без фальши. Ведь священнику, который живет в

покое и благополучии, так трудно превозносить бедность. Он начал читать молитву: длинный перечень апостолов и мучеников казался звуком шагов:

— Корнелия, Киприана, Лаврентия, Хризогона… — Скоро полиция достигнет той поляны, где под ним лег мул, где он умывался из лужи… Латинские слова, одно за другим, поспешно слетали с языка: он чувствовал нетерпение окружающих. Началось освящение Даров (гостии кончились давно, это был кусок хлеба, испеченный Марией); вдруг нетерпение исчезло; все временное потеряло значение, осталось одно:

— …Который накануне дня Своих страданий взял хлеб в Свои святые благословенные руки… — Кто бы ни продвигался по лесной тропе, здесь все замерло.

— Hoc est enim Corpus Meu[24]…

Он услышал общий вздох облегчения: Бог был здесь во плоти впервые за шесть лет. Когда он возносил Святые Дары, он мысленно видел головы, поднятые, как у изголодавшихся псов. Он начал освящение вина — в щербатой кружке. Это был еще один шаг вниз — года два он носил

---

[24] Примечания: 24
Сие есть Тело Мое *(лат.).*

с собой настоящую чашу — однажды она чуть не погубила его, спасло его только то, что полицейский офицер, открывший его чемодан, оказался католиком. Возможно, это стоило офицеру жизни, если кто-нибудь обнаружил попустительство, но он не знал этого. Бродишь повсюду, по Консепсьону и по другим местам, создаешь Бог знает сколько мучеников, а сам недостоин даже смерти.

Освящение закончилось в тишине: колокольчик не звенел. Он опустился на колени перед ящиком, опустошенный, не молясь. Кто-то открыл дверь, кто-то быстро шепнул:

— Они здесь.

«Значит, они не могли прийти пешком», — думал он рассеянно. Где-то в глубокой предрассветной тиши, на расстоянии не больше четверти мили заржала лошадь.

Он поднялся — рядом стояла Мария.

— Скатерть, отец, давайте мне скатерть! — сказала она.

Он торопливо положил гостию в рот и выпил вино, чтобы их не осквернили. Скатерть сорвали с ящика. Мария затушила свечи пальцами, чтобы фитили не оставили запаха… Комната уже опустела, только хозяин задержался у входа, ждал,

когда можно будет поцеловать руку священника, мир был смутно виден через дверь. В деревне запел петух.

— Идите в хижину, быстро! — сказала Мария.

— Лучше бы мне уйти, — сказал он. Никакого плана у него не было. — Лишь бы меня не нашли здесь.

— Они окружили деревню.

«Неужели конец?» — подумал он. Он знал, что где-то притаился страх, готовый ринуться на него, но пока он еще не боялся. Он поспешил за женщиной через деревню в ее дом, механически повторяя на ходу слова покаянной молитвы. Он ждал страха; он был в страхе, когда полицейский открыл его чемодан, но это было несколько лет назад. Он был в страхе, когда прятался в сарае среди бананов, а девочка спорила с офицером — это было всего несколько недель назад. Страх, несомненно, придет, и очень скоро… Полиция не показывалась — было серое утро. Куры и индюки плюхались на землю с веток, где они проводили ночь. Снова закукарекал петух… Если они так осторожны, значит, уверены, что он здесь. Это конец.

Мария подтолкнула его:

— Входите. Скорей. Быстро в постель.

По-видимому, у нее был какой-то замысел — женщины удивительно находчивы; они строят новые планы, едва разрушатся прежние. Но какой толк?

— Дайте я понюхаю, — сказала она. — Боже! Каждый догадается... вино... для чего нам могло понадобиться вино? — Она выходила, опять возвращалась, поднимая суету, нарушавшую мир и покой предрассветного часа. Вдруг из леса, находившегося в ста ярдах от деревни, выехал на лошади офицер. В полной тишине можно было слышать, как скрипнула его кобура, когда он повернулся и махнул рукой.

Маленькую вырубку окружили полицейские — они, должно быть, шли очень быстро, поскольку верхом ехал только офицер. Они приблизились с винтовками наперевес к кучке хижин, без нужды и довольно нелепо демонстрируя свою силу. За одним из них волочилась обмотка — наверное, зацепилась за что-то в лесу, — он наступил на нее и упал; патронташ громко стукнул о приклад; лейтенант оглянулся, а потом повернул жесткое и гневное лицо к безмолвным хижинам.

Женщина потянула священника в глубину хижины:

— Жуйте это! Быстро, времени нет, — сказала

она.

Он отвернулся от приближающихся полицейских и вошел в полумрак комнаты. У нее в руке была маленькая сырая луковица:

— Жуйте!

Он откусил, и у него потекли слезы.

— Теперь лучше? — спросила она.

Он слышал топот копыт лошади, осторожно пробирающейся между хижинами.

— Это ужасно, — сказал он и хихикнул.

— Дайте ее мне! — Она спрятала луковицу под платьем: видно, всем женщинам известна эта хитрость.

— Где мой чемоданчик? — спросил он.

— Не до чемоданчика. Ложитесь.

Но не успел он двинуться, как лошадь заслонила дверной проем. Была видна нога в сапоге для верховой езды, латунные части сбруи, надраенные до блеска, рука в перчатке лежала на высокой луке седла.

Мария коснулась рукой священника — самое большое выражение сердечности, какое она когда-либо себе позволяла; проявления нежности были у них под запретом.

Раздался крик:

— Все выходите!

Лошадь забила копытами, и в воздух поднялось облачко ПЫЛИ.

— Выходите, говорю!

Где-то раздался выстрел. Священник вышел из хижины.

Уже светало по-настоящему; перистые облака окрасились по всему небу. Полицейский держал винтовку, направленную вверх. Над дулом висел серый дымок. Неужели это начало конца?

Изо всех хижин деревни неохотно выходили люди. Первыми — дети. Они были любопытными и не боялись. У мужчин и женщин вид был, как у людей, уже осужденных властями: власти никогда не ошибаются. На священника никто из них не взглянул. Они уставились в землю и ждали; только дети глядели на лошадь, словно не было здесь ничего, важнее ее.

— Обыщите дома! — сказал лейтенант.

Время тянулось очень медленно; даже дымок от выстрела висел в воздухе непостижимо долго. Несколько свиней, хрюкая, вышло из хижины, а индюк со злым видом выступил в центр круга, раздув свои пыльные перья и тряся длинным розовым гребнем, свисающим с клюва.

Солдат подошел к лейтенанту и небрежно козырнул:

— Все налицо.

— Ничего подозрительного?

— Ничего.

— Проверьте еще раз.

Время снова остановилось, как сломанные часы. Лейтенант вынул портсигар, поколебался и сунул его обратно. Полицейский опять приблизился и доложил:

— Ничего.

— Внимание! — рявкнул лейтенант. — Слушайте все. Слушайте меня!

Кольцо полицейских вокруг жителей сузилось, сбив их в тесную кучу перед лейтенантом; только дети были оставлены на свободе. Священник увидел свою дочь, стоявшую около лошади лейтенанта; головой она доставала чуть выше его сапога. Она подняла руку и потрогала кожу.

— Я ищу двух людей, — сказал лейтенант. — Один из них гринго, янки, убийца. Вижу, что его здесь нет. Кто его поймает, получит пятьсот песо. Не прозевайте! — Он остановился и обвел их глазами. Священник ощутил, как пристальный взгляд остановился на нем; как и все, он смотрел в землю.

— Другой, — продолжал лейтенант, повысив голос, — священник. Вам известно, что это зна-

чит — изменник родины. Каждый, кто прячет его, — тоже изменник.

Их неподвижность приводила его в ярость.

— Вы глупцы, если все еще верите тому, что говорят священники. Им нужны только ваши деньги. Что дал вам Бог? Много ли у вас еды? Едят ли досыта ваши дети? Вместо пищи вам предлагают разговор о небе. Все будет прекрасно, говорят они, после вашей смерти. А я говорю вам: прекрасно будет после *их* смерти. И вы должны помочь!

Девочка держалась за его сапог. Он взглянул на нее со скрытой нежностью и убежденно сказал:

— Этот ребенок стоит больше, чем папа римский.

Полицейские оперлись на свои винтовки; один из них зевнул; индюк, недовольно шипя, важно прошествовал к хижине.

— Если кто видел этого священника, — сказал лейтенант, — пусть скажет! За него назначена награда в семьсот песо.

Все молчали. Лейтенант дернул поводья и повернул лошадь к ним.

— Нам известно, что он в этом районе. Возможно, вы не знаете, что случилось с человеком из Консепсьона?

Одна из женщин заплакала.

— Подходите друг за другом, — сказал лейтенант, — и называйте свои имена. Нет, нет, не женщины — мужчины.

Они нехотя подходили, и он спрашивал их: Как зовут? Чем занимаешься? Женат? Кто жена? Знаешь что о священнике? Уже только один человек отделял священника от лошадиной морды. Он автоматически повторял про себя покаянную молитву:

— «…мои грехи, ибо ими я распял любящего меня Спасителя, но более всего ими я оскорбил… — Он стоял один перед лейтенантом. — Твердо решаюсь никогда больше не оскорблять Тебя…» — Он каялся одними словами, только потому, что следовало приготовиться к смерти; так делают завещание — на всякий случай.

— Имя?

Ему пришло на ум имя человека из Консепсьона, и он сказал:

— Монтес.

— Видел когда-нибудь священника?

— Нет.

— Чем занимаешься?

— У меня участок земли.

— Женат?

— Да.

— Кто жена?

Внезапно вмешалась Мария:

— Это я. Что вы задаете так много вопросов? Вам что, кажется, что он похож на священника?

Лейтенант вглядывался во что-то, лежащее на луке седла, в какую-то старую фотографию.

— Покажи руки, — сказал он.

Священник протянул руки. Они были мозолистые, как у крестьянина. Вдруг лейтенант наклонился с седла и принюхался. Среди крестьян воцарилась полная тишина, тишина опасная, потому что могла выдать лейтенанту их страх. Он всмотрелся в худое заросшее лицо и опять взглянул на фото.

— Так, — сказал он. — Следующий.

А потом, когда священник отходил, задержал его:

— Погоди.

Он положил руку на голову Бригитты и легонько потеребил ее жесткие черные волосы.

— Посмотри! Ты в деревне всех знаешь?

— Да, — ответила она.

— Кто этот человек, как его зовут?

— Не знаю.

— Не знаешь? — Лейтенант затаил дыхание. —

Он не здешний?

Мария крикнула:

— Этот ребенок не знает и собственного имени. Спросите, кто ее отец.

— Кто твой отец?

Девочка смотрела на лейтенанта, а потом перевела понимающий взгляд на священника.

— «Каюсь и молюсь, отпусти все мои грехи…» — повторял он про себя, скрестив указательный и средний пальцы, чтобы пронесло.

— Это он, вот, — сказала девочка.

— Хорошо. Следующий!

Допрос продолжался: Имя? Работа? Женат? — пока солнце всходило над лесом. Священник стоял, прижав руки к груди, — смерть снова отсрочена. Он чувствовал сильнейшее искушение броситься к лейтенанту и заявить: «Я тот, кого вы ищете!» Быть может, его расстреляют сразу. Обманчивый призрак покоя манил его. Далеко в небе за ними следил гриф; с такой высоты люди должны были казаться двумя стаями хищников, готовыми в любую минуту броситься друг на друга; и гриф — маленькое черное пятнышко — ждал падали. Смерть не была концом страданий; вера в покой была своего рода ересью.

Последний человек дал показания.

— Значит, никто не хочет помочь? — спросил лейтенант. Они стояли безмолвно у полусгнившей эстрады.

— Вы слышали, что произошло в Консепсьоне? Я взял там заложника… и когда выяснилось, что священник был в окрестностях, я расстрелял заложника у первого же дерева. Я узнал о священнике, потому что всегда найдется человек, который выдаст. Может быть, он любил жену заложника и хотел убрать его с дороги. Входить в причины — не мое дело. Я только знаю, что потом в Консепсьоне мы нашли вино. Может, и в вашей деревне есть человек, который хочет получить ваш участок земли или корову? Тогда лучше заговорить теперь, потому что здесь я тоже собираюсь взять заложника. — Он остановился, а потом добавил: — Даже говорить не надо, если он здесь, среди вас. Просто взгляните на него. Тогда никто не узнает, кто его выдал. Он и сам не узнает, если вы боитесь его проклятий. Итак… даю вам последний шанс.

Священник смотрел в землю. Он не собирался усложнять дело тому, кто его выдаст.

— Так… — сказал лейтенант. — Тогда я буду выбирать заложника. Вы сами этого добились.

Он сидел на лошади, наблюдая за ними. Один

из полицейских прислонил винтовку к эстраде и поправил обмотку. Жители деревни все еще не поднимали глаз: каждый боялся встретиться взглядом с лейтенантом.

— Почему вы мне не доверяете? — внезапно закричал он. — Я никому из вас не желаю смерти. В моих глазах — можете вы это понять? — вы гораздо ценнее священника! Я хочу дать вам, — он сделал жест рукой, бесполезный, потому что никто на него не глядел, — дать вам все! — И добавил глухим голосом: — Ты. Вот ты. Я заберу тебя.

Одна из женщин пронзительно закричала:

— Это мой сын. Мигель. Вы не должны забирать моего сына!

— Здесь каждый мужчина — чей-то муж или сын, — глухо сказал лейтенант. — Я это знаю.

Священник стоял молча, так сильно стиснув руки, что суставы его пальцев побелели… Он чувствовал, как вокруг возникает ненависть. Ведь он не был ничьим мужем, ничьим сыном.

— Лейтенант! — сказал он.

— Чего тебе?

— Я становлюсь слишком стар, и от меня мало проку в поле. Возьмите меня.

Из-за угла хижины с шумом выбежали свиньи, не обращая ни на кого внимания. Солдат кончил

возиться с обмоткой и встал. Солнце светило над лесом, отражаясь в бутылке у газировочного ларька.

— Я выбираю заложника, а не предлагаю бесплатный корм и кров бездельнику, — сказал лейтенант. — Если ты не годен на работе в поле, не годишься и в заложники. Свяжите этому руки и ведите его, — приказал он.

Полицейские, прихватив с собой двух-трех кур, индюка и мужчину по имени Мигель, мигом исчезли…

— Я сделал что мог, — громко сказал священник. — Выдать меня — это *ваше* дело. Чего же вы еще от меня хотите? Мое дело — стараться, чтобы меня не поймали.

— Не беспокойтесь, отец, — сказал один из мужчин. — Только уж, пожалуйста, будьте осторожны. Не оставляйте здесь вино… как было в Консепсьоне.

— Вам здесь нельзя оставаться, отец, — сказал другой. — В конце концов они вас схватят. Ваше лицо им запомнилось. Бегите на север, в горы. Через границу.

— По ту сторону границы хороший штат, — сказала женщина. — У них до сих пор есть церкви. Правда, в них никто не может ходить, но там

они есть. Я даже слышала, что в городах есть священники. Мой двоюродный брат перебрался однажды через горы в Лас-Касас и был у обедни; ее служили в доме на настоящем алтаре, и священник был в облачении, как в прежние времена. Там, отец, вам будет хорошо.

Священник последовал за Марией в хижину. На столе стояла бутылка, он потрогал ее — бренди там оставалось мало.

— Мой чемоданчик, Мария. Где мой чемоданчик?

— Теперь ходить с ним слишком опасно, — ответила она.

— В чем же я буду носить вино?

— Вина нет.

— Что ты сказала?

— Не желаю, чтобы с вами или еще с кем-нибудь стряслась беда. Я разбила бутылку. Даже если это принесет несчастье…

— Не надо быть суеверной, — сказал он тихо и печально. — Это было просто вино. В вине нет ничего священного. Добыть только его трудно. Вот почему я держал запас в Консепсьоне, но они его и нашли…

— Теперь вам пора уходить… уходить навсегда. Вы больше никому не нужны, — сказала она

резко. — Вы понимаете, отец? Мы не хотим вас больше видеть.

— Конечно, — ответил он. — Понимаю. Но это не потому, что мы хотим этого — ты и я.

— Я кое в чем разбираюсь, — с беспощадностью говорила Мария. — Я ходила в школу. Я не такая темная, как остальные. Я знаю, что вы плохой священник. Бьюсь об заклад: то, что мы были вместе, — еще не все, что вы натворили. Я кое-что понимаю, могу вас уверить. Вы что думаете, Бог хочет, чтобы вы остались и погибли, вы — поп-пропойца?

Он покорно стоял перед ней, как стоял перед лейтенантом, выслушивая все. Таких мыслей он от нее не ожидал.

— Допустим, вы погибнете, — продолжала она. — Вы станете мучеником, верно? Но подумайте, что за мученик выйдет из вас? Посмешище!

Ему никогда не приходило в голову, что кто-нибудь будет считать его мучеником.

— Это непросто, очень непросто. Подумаю. Я не хочу, чтобы над Церковью смеялись…

— Только подумайте об этом по ту сторону границы…

— Хорошо…

— Когда случилось то самое — я гордилась. Думала, что еще начнутся хорошие дни. Не всякой женщине выпадает случай принадлежать священнику. А девочка… я думала, вы сможете что-нибудь для нее сделать. Но вы в конце концов оказались не лучше любого вора.

— И среди воров бывают хорошие люди, — сказал он рассеянно.

— Ради Бога, берите это бренди и уходите.

— Была одна вещь… В моем чемоданчике… кое-что…

— Тогда идите и ищите его сами на свалке. Я не желаю к нему больше прикасаться.

— А девочка? Ты же хорошая женщина, Мария. Надеюсь, ты постараешься вырастить ее… христианкой.

— Ничего путного из нее не выйдет. Сами видите.

— Не может же она быть совсем испорченной, — в этом возрасте, — сказал он умоляюще.

— Она пойдет своей дорожкой.

— Следующую литургию я отслужу за нее, — сказал он.

Мария не слушала. Она сказала:

— Она насквозь испорчена. Насквозь.

Он понимал, что здесь, в этой дыре, у него

на глазах гибнет вера. Скоро литургия будет означать для них не больше, чем черная кошка, перебежавшая дорогу. Он ставил их жизнь под удар ради того, что было для них простым суеверием, чем-то вроде просыпанной соли или скрещенных указательного и среднего пальцев.

— А мой мул… — начал он.

— Его сейчас кормят маисом, — прервала она и добавила: — Вам лучше идти на север. На юге шансов больше нет.

— Я думал, может быть, в Кармен…

— Там вас выследят.

— Что ж… — сказал он с грустью. — Может быть, потом… когда наступят лучшие времена… — Он осенил ее, благословляя, знаком креста, но она стояла перед ним, нетерпеливо ожидая, когда он наконец исчезнет навсегда.

— Прощай, Мария.

— Прощайте.

Он шел через площадь, сгорбившись, чувствуя, что все здесь с облегчением следят, как он уходит. Человек, который приносит несчастье, но которого, по каким-то неясным, суеверным предубеждениям, они не решились выдать полиции. Он завидовал неизвестному гринго, которого они без колебаний изловили бы, — тот, по

крайней мере, не обязан влачить на себе повсюду бремя благодарности.

По склонам, истоптанным копытами мулов и изрытым корнями деревьев, текла река — не более двух футов глубины; дно застилали жестяные банки и битые бутылки. Прибитая к дереву надпись гласила: «Сваливать мусор запрещается». Под этой надписью выбрасывали все деревенские отходы, и потом они сползали в реку. Когда наступят дожди, все это унесет вода. Священник поставил ногу среди ржавых банок и гниющих овощей и дотянулся до своего чемоданчика. Он вздохнул: это был совсем хороший чемоданчик, тоже память о мирном прошлом. Скоро станет трудно помнить, что жизнь когда-то была другой. Замок был сорван, он пощупал под шелковой подкладкой… Бумаги на месте. Он с сожалением выпустил из рук чемодан, словно бросил среди консервных банок всю свою респектабельную молодость — его подарили прихожане Консепсьона к пятой годовщине его рукоположения… За деревом кто-то шевельнулся. Он вытащил ноги из мусора, мухи облепили его щиколотки. Скомкав бумаги в кулаке, он обошел ствол дерева, чтобы посмотреть, кто его выслеживает… На корнях сидела девочка и била пятками по коре. Глаза ее

были плотно зажмурены.

— Милая, что с тобой?

Она быстро открыла покрасневшие веки и взглянула злобно, с выражением нелепой гордости.

— Вы, вы… — сказала она.

— Я?

— Все из-за вас!

Он приблизился к ней с величайшей осторожностью, словно к зверьку, который ему не доверяет. Чувствуя слабость от прилива нежности, он спросил:

— Родная, почему я?

— Надо мной смеются, — сказала она в ярости.

— Из-за меня?

— У всех отцы… работают.

— Я тоже работаю.

— Ведь вы священник, правда?

— Да.

— Педро говорит, что вы не мужчина. От вас нет проку женщине. Не знаю, что это значит.

— Педро, наверно, и сам не знает.

— Он-то знает! Ему десять. И я хочу узнать. Вы ведь уходите, верно?

— Ухожу.

Его снова ужаснула ее зрелость, улыбка, кото-

рую она извлекла из своего обширного и богатого арсенала.

— Скажите… — проговорила она игриво. Она сидела рядом с отбросами на корнях с непринужденным видом. Жизнь ее уже была отмечена червоточиной, как загнивающий плод. Она была безоружна — в ней не было ни прелести, ни обаяния, которые могли бы послужить ей защитой. Сердце его дрогнуло от сознания потери.

— Родная моя! Остерегайся…

— Чего? Почему вы уходите?

Он подумал: может ведь человек поцеловать собственную дочь, и подошел ближе, но она отпрянула.

— Не трогайте меня, — крикнула она своим прежним пронзительным голосом и хихикнула.

Каждый ребенок рождается с каким-то представлением о любви, подумал он. Его впитывают с молоком матери; но от родителей и друзей зависит, какого рода любовь он узнает — спасающую или губящую. Разврат — тоже род любви. Он видел, что она увязает в этой жизни, точно муха в липучке. Рука Марии всегда готова ударить; Педро ведет в темноте разговоры, неподходящие для ее возраста; полиция прочесывает леса, — всюду насилие. «Боже! — молился он. — Дай мне любой

род смерти, без покаяния, пусть в грехе, — только спаси это дитя».

Ему полагалось спасать души; это казалось так просто когда-то: нужно было читать проповеди в конце мессы, организовывать религиозные общества, пить кофе со стареющими дамами у зарешеченного окна, освящать дома, куря ладаном, носить черные перчатки… это было так же легко, как, например, копить деньги; теперь это стало тайной. Он сознавал свою полную непригодность.

Он опустился на колени и притянул девочку к себе. Она хихикала и вырывалась.

— Я люблю тебя. Я твой отец и люблю тебя. Постарайся понять это. — Он крепко держал ее за руку, и вдруг она затихла, глядя на него. — Я бы отдал свою жизнь, что жизнь — душу бы отдал, родная моя, родная, постарайся понять, что ты драгоценна.

Была глубокая разница — он всегда знал это — между его верой и их: политические вожди народа пеклись только о таких вещах, как государство, республика, а ему этот ребенок был дороже целого континента.

— Ты должна беречь себя, — сказал он, — потому что ты такая нужная. Президента в столице

охраняют вооруженные люди, а тебя, моя девочка, — все ангелы Неба.

Она смотрела на него темными, бездумными глазами. Он понял, что пришел слишком поздно.

— До свидания, родная, — сказал он и неловко поцеловал ее, полубезумный, стареющий человек.

Как только он отпустил ее и побрел, ковыляя, к площади, он ощутил, что за его сгорбленными плечами весь этот мерзкий мир окружил ребенка, грозя погубить его. Мул ждал его у ларька с газировкой.

— Идите лучше на север, отец, — сказал один из мужчин и остановился помахать рукой.

Нельзя иметь человеческие привязанности… Вернее, нужно любить каждую душу, как собственного ребенка. Страстная потребность защитить должна распространяться на весь мир. Но он чувствовал, что у него она сосредоточена на одном существе, и томился, словно животное, привязанное к дереву. Он повернул мула на юг.

* * *

Он фактически шел по следам полиции; пока он двигался медленно, не догоняя отставших, этот путь казался вполне безопасным. Сейчас

ему так необходимо раздобыть вина, и притом виноградного. Без этого он бесполезен; с таким же успехом можно бежать на север в безопасный штат за горами, где самое худшее, что его ожидало, — это штраф, точнее, несколько дней тюрьмы за неуплату штрафа. Но он еще не был готов окончательно сдаться — каждая маленькая капитуляция должна быть оплачена продлением испытаний; сейчас он чувствовал потребность принести хоть какую-нибудь жертву за своего ребенка. Он останется еще на месяц, еще на год… Трясясь на муле, он пытался подкупить Бога, обещая Ему быть твердым.

Мул остановился как вкопанный. На тропе поднялась зеленая змейка и тут же, шипя, скрылась в траве, словно кто-то чиркнул спичкой. Мул двинулся дальше.

Когда священник приближался к деревне, он слезал с мула и пробирался пешком как можно дальше, чтобы разведать — там могли оказаться полицейские. Потом он быстро проезжал через деревню, никому ничего не говоря, кроме *Buenos dias,* а на лесной тропе снова ехал по следу лошади лейтенанта. Сейчас он уже плохо понимал, что происходит: ему только хотелось отъехать как можно дальше от деревни, где он провел эту

ночь. В руке он все еще держал клочок смятой бумаги. Кто-то привязал к его седлу гроздь — бананов пятьдесят — рядом с мачете и небольшим мешком, в котором был запас свечей; время от времени он съедал по банану, спелому, раскисшему и коричневому, с привкусом мыла. От них над губой оставался след, похожий на усы.

Проехав шесть часов, он добрался до Ла Канделарии, захудалой деревеньки с жестяными крышами, протянувшейся вдоль одного из протоков Грихальвы, и с опаской выехал на пыльную улицу — день был в разгаре; грифы сидели на кровлях, спрятав свои маленькие головки от солнца, и несколько пеонов лежали в гамаках в узкой тени, отбрасываемой домом. Мул, как и весь этот тяжелый день, медленно плелся вперед. Священник склонился к передней луке седла.

Животное само остановилось у гамака. В нем по диагонали лежал мужчина, свесив одну ногу, и раскачивая ею гамак — вверх-вниз, вверх-вниз, чтобы вызвать хотя бы легкое движение воздуха.

— Buenos tardes[25]! — сказал священник. Человек открыл глаза и оглядел его.

— До Кармена далеко?

---

[25] Примечания: 25
Добрый вечер *(исп.)*.

— Три лиги.

— Можно здесь достать лодку? Мне надо переправиться на ту сторону.

— Можно.

— Где?

Мужчина вяло махнул рукой: где-то там, не здесь. У него было только два зуба, желтые клыки выступали по углам рта, словно зубы ископаемых животных, которых иногда находят в глине.

— Что здесь делали полицейские? — спросил священник, и в это мгновение налетела туча мух и облепила шею мула. Священник взмахнул палкой, и они тяжело поднялись, оставив после себя струйки крови, а потом снова опустились на жесткую серую шкуру. Мул стоял, понурив голову, на солнце и, казалось, ничего не чувствовал.

— Искали кого-то, — сказал человек.

— Я слышал, — сказал священник, — что объявлена награда за какого-то гринго.

Человек качнул гамак взад-вперед и сказал:

— Лучше быть живым и бедным, чем богатым и мертвым.

— Я смогу их догнать, если поеду в сторону Кармена?

— Они едут не в Кармен.

— Вот как?

— Им надо в город.

Священник поехал дальше; через двадцать ярдов он остановился у ларька с газировкой и спросил торговавшего мальчика:

— Можно здесь переправиться на лодке?

— Лодки нет.

— Нет?

— Ее кто-то украл.

— Налей мне сидрала.

Он выпил до дна желтую химическую жидкость с пузырьками. От нее еще больше хотелось пить.

— Как же все-таки переправиться?

— А вам зачем?

— Мне нужно в Кармен. Как же полицейские перебрались через реку?

— Переплыли.

— Му́ла, му́ла! — понукал священник животное, проезжая мимо непременной эстрады для оркестра и статуи в псевдоклассическом стиле, которая изображала женщину в тоге, с венком в руке; часть пьедестала отвалилась и лежала посреди дороги — мул ее обошел. Священник оглянулся; в самом конце улицы, выпрямившись в гамаке, сидел метис и наблюдал за ним. Мул свернул на тропинку, круто спускающуюся к реке, и священник снова оглянулся; метис все еще

сидел в гамаке, но ноги уже спустил на землю. Привычное беспокойство заставило священника ударить животное: «Мула, мула!» Но мулу нужно было время, чтобы сползти по берегу к реке.

В воду мул входить отказался; священник зубами расщепил конец палки и вонзил острие в бок животного. Тот неохотно вошел в реку. Вода стала подступать все выше — к стременам, а затем — к коленям; мул поплыл, вытянувшись во всю длину, так что на поверхности были видны только глаза и ноздри, как у аллигатора. Кто-то окликнул священника с берега.

Он оглянулся: у самой реки стоял и кричал метис, но кричал негромко, голос его едва доносился. Казалось, у него есть какое-то тайное дело, о котором, однако, никто, кроме священника, не должен знать. Он махал рукой, звал священника назад, но мул уже выбрался на другой берег, и священник не обращал внимания на его крики, — осторожность стала второй его натурой. Он, не оглядываясь, погнал мула через зеленый полумрак банановой рощи. За все эти годы было два места, куда он мог всегда вернуться: одно — Консепсьон, его бывший приход, но теперь он был закрыт для него, а другое — Кармен, где он родился и где похоронены его родители. Раньше

он думал, что есть и третье, но туда он больше не вернется…

Он направил мула в сторону Кармена, и лес снова поглотил их. При такой скорости они попадут туда к ночи. Это его устраивало. Мул, которого он уже не бил, еле-еле тащился, понурив голову, и от него сильно пахло кровью. Священник задремал, склонясь на высокую луку седла. Ему снилось, что девочка в белом накрахмаленном муслиновом платье отвечает катехизис. А позади нее — епископ, община «Детей Девы Марии», немолодые женщины с серыми грубыми набожными лицами и голубыми лентами. Епископ сказал: «Превосходно… превосходно!» — и захлопал в ладоши: хлоп, хлоп, хлоп! Мужчина в пиджаке сказал: «Для покрытия расходов на новый орган не хватает пятисот песо. Предлагаем устроить специальный концерт и будем надеяться…» Внезапно священник в ужасе вспомнил, что ему вовсе не следовало быть там… он попал совсем не в тот приход… ему нужно проводить неделю молитвенного уединения в Консепсьоне.

За спиной девочки в муслиновом платье возник человек по имени Монтес, подавая ему знаки и напоминая… Что-то стряслось с Монтесом, на лбу его была засохшая рана. Священник ощутил с

ужасающей ясностью, что над девочкой нависла опасность. «Родная, родная!» — проговорил он и проснулся.

Мул шел неторопливой покачивающейся поступью, а сзади слышались шаги. Он оглянулся: за ним брел метис, насквозь промокший, — должно быть, он переплыл реку. Его два зуба торчали над нижней губой, он заискивающе улыбался.

— Тебе что надо? — резко спросил священник.

— Вы не сказали мне, что едете в Кармен.

— А почему я должен говорить?

— Мне ведь тоже надо в Кармен. Приятней путешествовать в компании.

На нем была рубаха, белые брюки и кеды; из них торчал большой палец — толстый и желтый, словно земляная личинка. Метис почесал под мышками и с дружелюбным видом подошел ближе.

— Вы на меня не обижаетесь, сеньор?

— С чего это ты называешь меня сеньором?

— Сразу видно, что вы человек образованный.

— Этот лес открыт для всех.

— Вы хорошо знаете Кармен? — спросил метис.

— Не очень. У меня там есть друзья.

— Вы, наверное, едете по делам?

Священник ничего не ответил. Он почувство-

вал руку этого человека на своей ступне — легкое прикосновение, словно он его уговаривал.

— В двух лигах отсюда, в стороне от дороги, есть постоялый двор. Мы могли бы там переночевать.

— Я спешу, — сказал священник.

— Но какой толк приехать в Кармен ночью, в час или два? Мы бы лучше отоспались на постоялом дворе, а в Кармене были бы до наступления жары.

— Я сам знаю, как мне лучше.

— Конечно, сеньор, конечно. — Человек немного помолчал, а потом сказал: — Не очень-то разумно путешествовать ночью, если у сеньора нет ружья. Другое дело — человек вроде меня…

— Я бедняк, — сказал священник, — ты сам можешь это видеть. С меня нечего взять.

— К тому же здесь бродит один гринго, говорят, он зверь, настоящий pistolero[26]. Он подходит к вам и говорит на этом своем языке: «Стой! Как пройти…» Ну, там, в какое-нибудь место. А вы не понимаете, что он говорит, и, может быть, случайно сделаете движение. И он стреляет и убивает вас наповал. А может быть, сеньор, вы

---

[26] Примечания: 26
Убийца *(исп.)*.

сами знаете «американо»[27]?

— Конечно, нет. Откуда? Я бедный человек. Но я не верю всем этим россказням.

— Вы издалека?

Священник на мгновение задумался:

— Из Консепсьона.

Большего вреда он там уже не принесет. На этот раз метис был, казалось, удовлетворен ответом. Он шагал рядом с мулом, рука его лежала на стремени; по временам он сплевывал; когда священник смотрел вниз, он мог видеть большой палец, похожий на личинку, ползущую по земле. Да, возможно, он был вполне безобиден. Такая была жизнь, что всех приходилось подозревать.

Сгустились сумерки, а затем почти сразу наступила ночь. Мул двигался еще медленнее. Вокруг них со всех сторон раздавались звуки, как в театре, когда занавес опускается, а за кулисами, в кулуарах, нарастает шум голосов. Неизвестные животные — возможно ягуары — рычали в чаще, обезьяны скакали по веткам деревьев, и комары жужжали вокруг, как швейные машины…

— Когда долго идешь, хочется пить, — сказал человек. — Сеньор, нет ли у вас, случайно, чего-

---

[27] Примечания: 27
Английский язык *(прим. перев.).*

нибудь выпить?

— Нет.

— Если хотите добраться до Кармена раньше трех, то нужно погонять мула как следует. Не взять ли мне палку?

— Нет-нет. Пусть скотина идет, как ей хочется. Мне все равно, — ответил он сонно.

— Вы говорите, словно священник.

Он тут же очнулся, но ничего не смог разглядеть под высокими, темными деревьями.

— Что за вздор ты мелешь?

— Я добрый христианин, — ответил человек, поглаживая ногу священника.

— Очень может быть… Рад был бы сказать то же самое и о себе.

— Вам бы следовало понимать, кому можно довериться. — Он сплюнул с дружелюбным видом.

— О чем мне беспокоиться? — сказал священник. — Об этих брюках? Они слишком рваные. И еще этот мул — он тоже не подарочек, сам видишь.

На время воцарилось молчание, а затем метис продолжал, будто размышляя над последними словами священника.

— Мул был бы неплох, если бы вы обращались с ним как надо. Про мулов я все знаю и вижу, что

он в самом деле выдохся.

Священник поглядел на серую покачивающуюся голову.

— Ты так думаешь?

— А сколько вы вчера проехали?

— Лиг двенадцать, наверное.

— Отдыхать нужно даже мулу.

Священник освободил свои босые ноги из кожаных стремян и слез с седла. На минуту, не более, мул ускорил шаг, а затем побрел еще медленнее, чем раньше. Сучья и корни на лесной тропе ранили ноги священника, и очень скоро они были уже в крови. Он тщетно пытался не хромать.

— Какие же нежные, однако, у вас ноги! — воскликнул метис. — Вам бы надо надевать ботинки.

— Я бедняк, — упорно повторял священник.

— Так вы никогда не попадете в Кармен. Будьте же благоразумны; если вы не хотите свернуть к постоялому двору, я знаю хижину, меньше чем в пол-лиги отсюда. Мы можем поспать там пару часов, а к рассвету успеем в Кармен.

Рядом с тропой в траве послышался шорох — священник подумал о змеях и о своих незащищенных ногах. Комары кусали запястья; как маленькие шприцы, наполненные ядом, они

норовили попасть в кровеносные сосуды. Время от времени светляк приближал свою горящую лампочку к самому лицу метиса, включая и выключая ее, словно фонарик.

— Вы мне не доверяете! — сказал метис укоризненно. — И только потому, что я человек, которому нравится делать добро незнакомым людям, который старается вести себя как христианин. Нет, вы мне не доверяете.

Казалось, он искусственно разжигал в себе обиду.

— Если бы я хотел вас ограбить, разве я не сделал бы этого раньше? — сказал он. — Вы же старик.

— Не такой уж я старик, — ответил священник дружелюбно. В нем бессознательно пробудилась совесть; она была словно автомат с щелью, к которой подходила любая монета, даже пустой кругляшок мошенника. Слова: гордый, похотливый, завистливый, трусливый, неблагодарный — приводили в действие соответствующую пружину — таким и он был.

— Вот я потратил много часов, провожая вас в Кармен, — сказал метис. — И я не хочу никакой награды, потому что я добрый христианин; быть может, дома у меня будут из-за этого кое-какие

убытки, — но не обращайте на это внимания.

— Мне кажется, ты говорил, что у тебя есть дела в Кармене? — ласково спросил священник.

— Когда это я говорил? — Действительно, он не мог вспомнить — когда… Не исключено, что он несправедлив к нему…

— Зачем мне врать? — заметил метис. — Да, я потратил целый день, чтобы помочь вам. А вы даже не обращаете внимания, что ваш проводник устал.

— Мне не нужен проводник, — мягко возразил священник.

— Хорошо вам говорить теперь, когда дорога прямая. Если бы не я, вы давно бы заблудились. Вы и сами сказали, что плохо знаете Кармен. Потому-то я и пошел с вами.

— Конечно, если ты устал, мы отдохнем, — сказал священник. Он чувствовал себя виноватым из-за своей недоверчивости. Но она все равно сидела в нем, словно опухоль, и только нож мог бы избавить от нее.

Через полчаса они пришли к хижине; сложенная из глины и веток, она была построена на крохотной вырубке фермером, которого отсюда, должно быть, выжил лес, наступавший на дом, — неудержимая природная сила, с которой человек

не мог сладить своими мачете и кострами. Почерневшая земля еще хранила следы попыток расчистить заросли для скудного, несоразмерного с усилиями урожая.

— Я присмотрю за мулом, — сказал метис. — А вы заходите, ложитесь и отдыхайте.

— Но ведь это ты устал, а не я.

— Я устал? — воскликнул метис. — С чего это вы взяли? Я никогда в жизни не уставал.

Священник с тяжелым сердцем снял свою седельную сумку, толкнул дверь и вошел в кромешную темноту. Он зажег спичку — никакой обстановки не было. Только возвышение из твердой земли и соломенная циновка, слишком рваная, чтобы ее стоило увозить. Он зажег свечу и прилепил к возвышению, потом сел и стал ждать; спутника что-то долго не было. В одной руке священник все еще сжимал клочок бумаги, который ему удалось взять из своего чемодана, — любому человеку нужно хранить хотя бы какие-нибудь сентиментальные реликвии, если ему вообще суждено жить. Довод об опасности годен только для тех, кому ничто не угрожает. Он подумал: не украл ли метис его мула, и упрекнул себя за такие подозрения. Потом дверь открылась, и метис вошел: два желтых клыка, ногтями

он скреб под мышками. Сев на землю спиной к двери, он сказал:

— Спите. Вы устали. Я разбужу вас, когда нам пора будет двигаться дальше.

— Мне не очень хочется спать.

— Погасите свечку, тогда вы быстрей уснете.

— Я не люблю темноты, — сказал священник. Ему было страшно.

— Не прочтете ли вы молитву, отец, прежде чем мы уснем?

— Почему ты меня так называешь? — спросил он резко, всматриваясь в темноту, туда, где у двери сидел метис.

— Просто я догадался. Но вам нечего меня бояться. Я добрый христианин.

— Ты ошибаешься.

— Мне нетрудно было бы это выяснить, — сказал метис. — Достаточно попросить: отец, примите мою исповедь. Вы не могли бы отказать человеку, на душе которого лежит смертный грех.

Священник ничего не ответил, ожидая, когда последует эта просьба; рука, в которой он сжимал бумагу, судорожно сжалась.

— Вам нечего бояться меня, — вкрадчиво продолжал метис. — Я не выдам вас, я христианин.

Просто я подумал, что неплохо бы помолиться…

— Чтобы знать молитву, не надо быть священником. — И он начал: «Отче наш, иже еси на небесех…»

Москиты продолжали лететь на пламя свечи. Он твердо решил не спать — этот человек что-то задумал. Даже совесть перестала укорять его в недостатке любви. Перед ним был Иуда; он знал это наверняка.

Прислонившись головой к стене, священник прикрыл глаза — он вспомнил Страстную неделю в старые времена, когда на колокольне вешали тряпичного Иуду и мальчишки стучали консервными банками-погремушками, пока он качался над дверью. Степенные члены конгрегации время от времени протестовали. «Это кощунство, — говорили они, — выставлять предателя Господа в виде чучела»; но он промолчал, и старый обычай не отменили. Ему казалось, что не так уж плохо сделать предмет для потехи из того, кто предал весь мир. Иначе слишком легко идеализировать его и изобразить человеком, боровшимся против Бога, — Прометеем, отважной жертвой, павшей в безнадежной борьбе.

— Вы не спите? — донесся от двери шепот.

Священник вдруг тихонько засмеялся, слов-

но этот человек тоже был нелепым чучелом с соломенными ногами, намалеванным лицом и старой соломенной шляпой, которого скоро сожгут на площади при вспышках фейерверка, под звуки политических речей.

— Вам не спится?

— Я задремал, — шепотом ответил священник. Он открыл глаза и увидел, что человека у двери трясет, два острых зуба прыгали на нижней губе. — Ты заболел?

— Немного лихорадит, — ответил он. — У вас есть что-нибудь, какие-нибудь лекарства?

— Нет.

Дверь поскрипывала, когда спина метиса дрожала.

— Все оттого, что я вымок в реке, — сказал он, соскользнул на пол и закрыл глаза.

Москиты с опаленными крылышками ползали по земляным нарам. «Я не должен спать, это опасно, — подумал священник. — Нужно следить за ним». Он разжал кулак и расправил бумажку. Были видны слабые карандашные линии — отдельные слова, начала и концы предложений, цифры. Теперь, когда он лишился чемоданчика, это было последнее свидетельство того, что когда-то жизнь была иной. Он носил с собой этот

листок, точно амулет; если жизнь была прежде другой, — значит, она могла стать такой снова. В знойных испарениях болотистой равнины пламя свечи превращалось в дымящую мерцающую точку… Священник приблизил бумажку к свече и стал читать:…«Общество алтаря»… «Союз Святого Причастия»… «Дети Девы Марии»… А потом, вновь взглянув в другой конец хижины, увидел желтые малярийные глаза метиса, наблюдавшего за ним; Христос не застал бы Иуду спящим в саду — Иуда смог бодрствовать более, нежели один час.

— Что это за бумага, отец? — вкрадчиво спросил метис, дрожа у двери.

— Не называй меня отцом. Это список семян, которые я должен купить в Кармене.

— Вы умеете писать?

— Я умею читать.

Он снова глянул в бумажку, и из-под блеклого карандаша проступила не слишком благочестивая шуточка, что-то о «единой сущности» — это он прошелся насчет своей полноты и хорошего обеда, который только что съел. Прихожане были не слишком высокого мнения о его юморе.

Обед был устроен в Консепсьоне в честь десятой годовщины его рукоположения. Он сидел в

центре — а кто же был справа? Стояло двенадцать тарелок, он сказал что-то об апостолах, тоже, кажется, довольно пошло. Он был совсем молод, и среди всех этих набожных пожилых почтенных граждан Консепсьона, украшенных лентами и знаками своих союзов, его подмывало к озорству. Он немного выпил лишнего — тогда он еще не испытывал пристрастия к спиртному. Теперь внезапно он вспомнил, кто же сидел справа, — это был Монтес, отец того человека, которого расстреляли.

Монтес произнес довольно длинную речь, он доложил об успехах «Общества алтаря» за прошлый год. Наличный баланс составил сумму двадцать два песо. Он записал это, чтобы упомянуть в ответной речи. Вот тут: «0.a.22». Монтесу очень хотелось открыть отделение Ордена Святого Винсента де Поля[28], а какая-то женщина жаловалась, что в Консепсьоне продают мерзкие книги, которые провозят из столицы на вьючных мулах. Ее сын раздобыл где-то такую книжку под названием «Муж на одну ночь». В своей речи он ответил, что будет писать по этому поводу губернатору.

---

[28] Примечания: 28

Католический святой XVII в., основатель ордена, цель которого уход за больными *(прим. перев.).*

При этих словах местный фотограф сделал снимок со вспышкой, и благодаря этому, он запомнил себя в то мгновение как бы со стороны, словно он был другим человеком, заглянувшим сюда случайно; он с завистью и с некоторым изумлением смотрел на этого полного молоденького священника, который поднялся и авторитетно простер пухлую руку, в то время как язык его смаковал слово «губернатор». У всех были открыты рты, как у рыб, а лица, снятые при вспышке магния, белые, без морщин, походили друг на друга.

Этот миг, когда он осознал собственную авторитетность, вернул ему серьезность — он подтянулся, и все были рады. Он сказал:

— Баланс двадцать два песо на счету «Общества алтаря» за истекший год, хотя это и настоящий переворот для Консепсьона, не является единственной причиной для поздравления. Число членов «Общества Детей Марии» возросло на девять человек, а «Союз Святого Причастия» провел наше ежегодное молитвенное уединение лучше, чем всегда. Но мы не должны почивать на лаврах — и я признаюсь, что у меня имеются планы, которые вы, быть может, сочтете несколько необычными. Я знаю, что вы уже успели составить обо мне мнение как о человеке довольно

честолюбивом — что ж, я действительно хочу, чтобы школа в Консепсьоне была лучшей, а значит, разумеется, и пресвитерий[29]. Мы — большой приход отстроили, священнику надо поддерживать престиж. Я забочусь не о себе, а о Церкви. Однако мы не остановимся на этом, хотя и понадобится, боюсь, немало лет, чтобы собрать деньги даже в таком большом городе, как Консепсьон.

Когда он говорил, впереди лежала безоблачная жизнь. У него действительно *было* честолюбие. Он не видел причины, почему бы в один прекрасный день ему не получить назначение в кафедральный собор столицы штата и оставить в Консепсьоне другого расплачиваться с его долгами. Энергичного священника всегда узнают по его долгам.

— Конечно, — продолжал он, выразительно жестикулируя пухлой ручкой, — здесь, в Мексике, нашей родной Церкви угрожают многие опасности. В этом штате нам еще очень повезло: на севере люди поплатились жизнью, и мы должны быть готовы… — он освежил пересохший рот глотком вина, — готовы к самому худшему.

---

[29] Примечания: 29
Помещение для клириков *(прим. перев.).*

Бодрствуйте и молитесь, — продолжал он туманно, — бодрствуйте и молитесь. Дьявол, подобно льву рыкающему… — «Дети Марии» уставились на него, разинув рты, на них были темные парадные блузы с голубыми лентами через плечо.

Он говорил долго, упиваясь звуками собственного голоса; он охладил пыл Монтеса насчет «Ордена святого Винсента де Поля» — надо ведь следить, чтобы миряне не заходили слишком далеко, — и рассказал трогательную историю о девочке, которая умирала от чахотки; она была тверда в вере, и ей было одиннадцать лет. Она спросила: «Кто это стоит в ногах кровати?» И ей сказали, что отец такой-то. Она сказала: «Нет, нет, я знаю отца такого-то, я говорю о Том, Кто в золотом венце!» Кто-то из «Общества Святого Причастия» заплакал, все были очень счастливы. К тому же это была правдивая история, хотя он не мог припомнить, где он ее слышал. Наверное, когда-то читал ее. Кто-то наполнил его стакан. Он перевел дыхание и сказал: «Дети мои…»

* * *

…И когда у двери заерзал и засопел метис, он открыл глаза, и прошлая жизнь отвалилась, как этикетка: он лежал в рваных крестьянских

штанах в темной хижине, и за его голову было объявлено вознаграждение. Весь мир изменился — церквей нигде нет, нет собратьев-священников, кроме падре Хосе, расстриги из столицы. Он лежал, прислушиваясь к тяжелому дыханию метиса, и удивлялся, почему он не пошел по пути падре Хосе и не подчинился закону.

«Я был слишком честолюбив, — подумал он, — вот в чем дело». Быть может, падре Хосе был лучше его — такой смиренный, готовый принять любые насмешки; даже в лучшие времена он никогда не считал себя достойным священства. В те счастливые дни, при прежнем губернаторе, в столице однажды состоялась конференция приходского духовенства, и он помнит, как под конец каждого заседания падре Хосе пробирался в последний ряд — украдкой, пригнувшись, стараясь остаться незамеченным, и сидел там, словно в рот воды набрал. Не то чтобы он был слишком щепетильным, подобно некоторым более интеллигентным священникам, просто его переполняло чувство Бога. Когда он возносил Святые Дары, было видно, как дрожат его руки — он совсем не походил на апостола Фому, которому нужно было вложить пальцы в раны, чтобы поверить; для падре Хосе из них каждый

раз лилась над алтарем кровь. Однажды в порыве откровенности падре Хосе сказал ему: «Всякий раз… я испытываю такой страх…» Его отец был батраком.

Но с ним дело обстояло иначе — у него было честолюбие. Он не был более интеллигентен, чем падре Хосе, но отец его держал лавку, и он понимал, что значит баланс в двадцать два песо и как орудовать закладными. Его не устраивало всю жизнь оставаться священником небольшого прихода. Его притязания вспомнились сейчас как нечто забавное, и он издал удивленный смешок при свете свечи.

Метис открыл глаза и спросил:

— Вы все еще не спите?

— Сам спи, — сказал священник, вытирая рукавом капли пота с лица.

— Я мерзну.

— Тебя знобит. Хочешь мою рубашку? Это не ахти что, но тебе будет теплее.

— Нет, нет, я от вас ничего не возьму, вы мне не доверяете.

Да, если бы он был смиренным, как падре Хосе, он мог бы жить сейчас с Марией в столице на пенсии. Это гордыня, сатанинская гордыня — лежать здесь и предлагать свою рубашку человеку,

который хочет предать тебя. Даже попытки бежать он делал не от всего сердца, а от гордыни — греха, из-за которого пали ангелы. Когда он остался единственным священником в штате, его гордыня возросла еще больше; он казался себе таким сорви-головой, приносящим всюду Бога с риском для жизни; в один прекрасный день он получит награду…

«Господи, прости меня, — молился он пылко, — я гордый, похотливый, алчный человек, я слишком возлюбил почет. Эти люди — мученики, они защищают меня ценой собственной жизни. Они заслуживают мученика, который заботился бы о них, а не такого дурака, как я, который любит все непотребное. Наверное, лучше было бы бежать — если я расскажу людям обо всем, что здесь творится, возможно, они пришлют хорошего человека, горящего любовью…». Как всегда, его исповедь перед самим собой перешла в обдумывание практической проблемы: что я должен делать?

У двери беспокойно спал метис.

Как мало ему нужно, чтобы питать свою гордыню — в этом году он отслужил всего четыре литургии и выслушал едва ли сотню исповедей. Ему казалось, что самый тупой выпускник любой

семинарии мог бы сделать это с таким же успехом… или лучше. Он поднялся очень осторожно и стал босиком продвигаться по полу. Ему нужно добраться до Кармена, а потом идти дальше и побыстрее, прежде, чем этот человек… рот метиса был открыт, бледные, беззубые, твердые десны обнажены; во сне он сопел и метался; потом повалился на пол и затих.

В его позе была отрешенность, словно он отказался от всякой борьбы и лежал, как жертва, во власти неведомой силы… Священнику оставалось только перешагнуть через его ноги и толкнуть дверь — она открывалась наружу.

Он занес ногу над телом, но рука впилась в его лодыжку. Метис пристально посмотрел на него:

— Вы куда?

— По нужде.

Рука продолжала сжимать лодыжку.

— Почему вы не можете сделать это здесь? — заныл метис. — Что вам мешает, отец? Ведь вы отец, верно?

— У меня есть ребенок, — сказал священник, — если это то, что ты имеешь в виду.

— Вы знаете, что я имею в виду. Ведь вы все знаете про Бога, верно? — Горячая рука держала его. — Может быть, Он у вас тут, в кармане, вы

носите Его повсюду, верно? На случай, если кто-нибудь болен. Так вот я болен. Почему вы мне Его не даете? Или вам кажется, что Он не захотел бы иметь со мной дела… если бы Он узнал?..

— Ты бредишь.

Но человек не умолкал. Священнику вспомнился нефтяной фонтан, который какие-то старатели пустили однажды близ Консепсьона. Хотя это было недостаточно богатое месторождение, чтобы окупить дальнейшие работы, но он бил двое суток на фоне неба — черный фонтан, хлещущий понапрасну из болотистой непригодной земли — пятьдесят галлонов в час. Так и в человеке порой внезапно прорывается религиозное чувство и выбрасывает черный столб копоти и грязи, расходуясь бесполезно.

— Сказать вам, что я сделал? Ведь это ваша обязанность — выслушать. Я брал деньги у женщин за то, чтобы их… ну, понимаете — что, и отдавал эти деньги мальчикам…

— Я не желаю слушать.

— Но вы обязаны.

— Ты ошибаешься.

— Э нет, не ошибаюсь! Вы меня не проведете. Слушайте: я давал деньги мальчикам — ну, вы понимаете, что я имею в виду. А еще я ел мясо по

пятницам…

Невероятная смесь непристойности, пошлости и нелепости вырывалась у него изо рта между двумя желтыми клыками, и все это время рука на лодыжке священника дрожала от озноба.

— Я врал, я не соблюдал Великого Поста уж не знаю сколько лет. Как-то у меня было сразу две женщины. Я расскажу вам, что я сделал…

У него было огромное самомнение, он не был способен представить, что был лишь типичной частицей мира вероломства, насилия, похоти, в котором его позор — был чем-то ничтожным. Как часто священник слышал такие признания; человек весьма ограничен: у него недостает даже воображения, чтобы придумать новый порок, все это имеют и животные. И за этот мир умер Христос! Чем больше зла ты видишь и слышишь вокруг, тем большей славой сияет эта смерть; слишком легко умереть за что-нибудь доброе и прекрасное: за родину, за детей или за цивилизацию — но нужно быть Богом, чтобы умереть за равнодушных и порочных.

— Зачем ты мне все это говоришь? — спросил он.

Человек лежал обессиленный и молчал; он покрылся испариной, рука его отпустила лодыжку

священника. Тот открыл настежь дверь и вышел — было совсем темно.

Как найти мула? Он стоял, прислушиваясь. Что-то завыло невдалеке. Он испугался. Позади в хижине горела свеча, слышались странные хлюпающие звуки: человек плакал. И снова ему вспомнился нефтяной район, маленькие черные лужи и пузыри, медленно растущие, лопающиеся и вздувающиеся вновь.

Священник чиркнул спичкой и пошел вперед — один, два, три шага — прямо на дерево. От спички в этой кромешной тьме толку не больше чем от светляка. Он зашептал: «Му́ла, му́ла!» — боясь звать громко, чтобы метис его не услышал; кроме того, было мало шансов, что эта глупая скотина отзовется. Он ненавидел мула, его кивающую, как у китайского болванчика, голову, жующий прожорливый рот, запах крови и навоза.

Он чиркнул еще одной спичкой и пошел дальше и через несколько шагов снова наткнулся на дерево. Из хижины продолжали доноситься хлюпающие горестные звуки. Нужно поскорее добраться до Кармена, раньше, чем этот человек успеет связаться с полицией. Он начал вновь блуждать по вырубке — шаг, другой, третий, четвертый — и опять дерево. Что-то зашевелилось

под ногой, он подумал о скорпионах. Шаг, другой, третий — и вдруг нелепый крик мула раздался из мрака. Мул был голоден, а может быть, просто почуял запах какого-то зверя.

Мул оказался привязанным в нескольких ярдах позади хижины. Пламя свечи исчезло из виду. Спички кончились. Но после двух новых попыток он нашел мула. Метис разнуздал его и спрятал седло. Священник не мог больше тратить времени на поиски. Он сел на мула и только тогда понял, что, не имея даже веревки вокруг шеи животного, его невозможно заставить двигаться, — он попытался крутить ему уши, но они были не чувствительнее дверных ручек. Мул стоял неподвижно, словно конная статуя. Он чиркнул спичкой, поднес ее к крупу мула — тот внезапно лягнул задними ногами, и священник уронил спичку. Затем животное опять замерло: нелепая голова и окаменевшие ноги.

Голос с упреком произнес:

— Вы оставляете меня здесь — на смерть.

— Чепуха, — сказал священник, — я очень спешу. Утром у тебя все пройдет, а я ждать не могу.

В темноте послышалась возня, а потом рука схватилась за его босую ногу.

— Не оставляйте меня здесь одного. Я взываю к

вам как к христианину.

— Тебе здесь ничего не грозит.

— А почем вы знаете, может быть, поблизости тот гринго.

— Ничего я не знаю ни про какого гринго и не встречал никого, кто бы его видел. Кроме того, он только человек, как и любой из нас.

— Я не хочу оставаться один, у меня предчувствие…

— Ладно, — устало сказал священник. — Найди седло.

Когда мул был оседлан, они снова тронулись в путь; метис держался за стремя. Оба молчали — порой метис спотыкался; наступал серый смутный рассвет; искра жестокого удовлетворения вспыхнула в сознании священника: это был Иуда — больной, неуверенный, боящийся темноты. Стоит только подстегнуть мула — и метис останется беспомощным в лесу. Он кольнул животное концом палки и заставил его перейти на вялую рысцу, но тут же почувствовал, как его что-то тянет. Это тянула его рука метиса, ухватившегося за стремя. Раздался стон и какое-то бормотание, вроде «Матерь Божия!», и он позволил мулу замедлить шаг.

«Господи, прости меня!» — молился он безмолв-

но. Ведь и за этого человека умер Христос; как мог он вообразить со своей гордыней, похотью и трусостью, что хоть сколько-нибудь достойнее Его смерти, чем этот метис? Он намерен предать его за деньги, в которых нуждается, а он предавал Бога — ради чего? Даже не ради настоящего вожделения.

— Тебе худо? — спросил он. Ответа не было. Он слез и сказал: — Садись… я немного пройдусь.

— Я в порядке, — ответил тот с ненавистью.

— Садись!

— Думаете, что вы очень великодушны, — сказал человек. — Помогаете своим врагам. Это ведь так по-христиански, верно?

— А ты что ж, мой враг?

— Это вы так считаете, думаете, что я хочу получить за вас семьсот песо. Думаете, что такой бедняк, как я, не может позволить себе не донести полиции…

— Ты бредишь.

— Вы, конечно, правы, — сказал он жалобным хитрым голосом.

— Лучше залезай.

Метис едва не падал, его приходилось поддерживать; он безнадежно свесился с мула, его рот оказался вровень со ртом священника и обдавал

его смрадом.

— У бедняка нет выбора, отец, — сказал человек. — Теперь, если мне доведется разбогатеть хоть немного, я бы стал хорошим.

Внезапно без всякой связи священник подумал о «Детях Девы Марии», евших пирожные. Он засмеялся и сказал:

— Сомневаюсь. Были ли бы это добрые дела…

— Что вы сказали отец? Вы мне не доверяете, — продолжал бормотать метис, — потому что я беден, и потому что вы не доверяете… — И он навалился на луку седла, тяжело дыша и дрожа всем телом. Священник поддерживал его одной рукой, и они медленно шли в сторону Кармен. Что толку: теперь ему нельзя останавливаться там, было бы глупо даже показаться в селении, потому что, если об этом узнают, кто-нибудь лишится жизни — они возьмут заложника. Где-то далеко запел петух. Туман, ему по колено, поднимавшийся с болотистой земли, напомнил ему, как постепенно гаснет мерцающий свет свечей на деревянных подставках в пустой церкви. В котором часу петухи начинают петь? Вот что еще странно в теперешней жизни: куда-то делись часы — за целый год не услышишь их боя. Они исчезли вместе с церквами, и теперь только по

медленным серым рассветам и торопливым ночам приходилось отсчитывать время.

Постепенно стала вырисовываться фигура метиса, склонившегося на луку; стали видны его желтые клыки, торчащие из разинутого рта; право, этот человек, думал священник, заслужил награду. Семьсот песо не такая уж большая сумма, но в той пыльной, заброшенной деревушке ему, пожалуй, хватит ее на целый год. Он снова хихикнул: ему всегда было трудно принимать всерьез превратности судьбы — и ведь, быть может, год спокойной жизни мог бы спасти душу этого человека. Любое жизненное положение надо только вывернуть наизнанку, и оттуда посыплется вся мелочь нелепых, противоречивых обстоятельств. Вот он поддался отчаянию, и от этого родилась человеческая душа и любовь — не лучшая, что и говорить, но все же любовь. Метис вдруг сказал:

— Это судьба. Мне гадалка как-то сказала… награда…

Он крепко держал метиса в седле и шагал рядом. Ноги кровоточили, но они скоро задубеют. Странная тишина спустилась на лес и вместе с туманом поднялась от земли. Ночью было полно всяких звуков, а сейчас все стихло. Точно во время

перемирия, когда ружья с обеих сторон умолкают и кажется, будто вся земля прислушивается к тому, чего раньше никто не слышал, — к миру.

Метис сказал:

— Ведь вы все же священник, не так ли?

— Да.

Они словно вылезли каждый из своего окопа и сошлись брататься между колючей проволокой на ничейной земле. Он вспомнил рассказы о европейской войне — как на исходе ее солдаты, поддавшись порыву, бежали друг другу навстречу. «Неужто ты немец?» — спрашивали они, с изумлением глядя в такое же человеческое лицо. Или: «А ты англичанин?»

— Да, — повторил он, а мул все так же медленно плелся вперед. В прежние времена, когда он обучал детей, какой-нибудь мальчик с узкими индейскими глазами, бывало, спрашивал его: «А Бог на кого похож?» — и он отвечал — бездумно, сравнивая Бога с отцом и матерью, а иной раз, расширяя свой ответ, включая туда же братьев и сестер, чтобы вопрошающий представил себе все роды любви, все человеческие отношения, сомкнувшиеся в огромном, хоть и глубоко личном чувстве… Но в самой сердцевине его собственной веры было убеждение в тайне — ведь мы созда-

ны по образу и подобию Божьему. Бог — это и отец, но Он же и полицейский, и преступник, и священник, и маньяк, и судья. Нечто, подобное Богу, покачивалось на виселице, и корчилось под выстрелами на тюремном дворе, и горбилось, как верблюд, в момент совокупления. Он сидел в исповедальне и выслушивал отчет о замысловатых, грязных ухищрениях, которые изобрело подобие Божие. И вот сейчас это Божие подобие тряслось на спине мула, прикусив желтыми зубами нижнюю губу, и Божие подобие совершило свое бунтарское деяние с Марией в хижине, где было полно крыс. Солдат на войне, наверно, утешает себя тем, что враждующая сторона творит не меньше зверств: человек не одинок в своем грехе. Он сказал:

— Теперь тебе лучше? Не знобит, а? В жар не бросает? — И заставил себя почти с нежностью погладить плечо подобию Божьему.

Человек молчал, покачиваясь с боку на бок на хребтине мула.

— Осталось не больше двух лиг, — подбадривая его, сказал священник. Надо бы решать, что ему делать. Он помнил Кармен лучше любого другого селения или городка в штате: пологий, заросший травой косогор ведет от реки к маленькому клад-

бищу на небольшом холмике — там похоронены его родители. Кладбищенская стена завалилась; два-три креста поломаны гонителями церкви; каменный ангел потерял одно крыло, а надгробия, оставшиеся нетронутыми, покосились под острым углом в высокой болотной траве. У статуи Матери Божией над могилой какого-то богатого, всеми забытого лесопромышленника нет ни ушей, ни рук, как у языческой Венеры. Непонятно! И откуда это яростное стремление разрушать — ведь до конца всего никогда не разрушишь. Если б Господь походил на жабу, можно было бы перевести всех жаб на земле, но когда Он подобен тебе, что толку уничтожать каменные изваяния — надо убить самого себя среди всех этих могил.

Он сказал:

— Ну как, ты окреп, удержишься сам? — И отнял руку.

Тропинка раздвоилась; одна вела в Кармен, другая — на запад. Он подтолкнул мула, направляя его в сторону Кармен, и сказал:

— Через два часа будешь там. — И остановился, глядя, как мул идет на его родину, неся на себе доносчика, припавшего к луке.

Метис попытался выпрямиться.

— Куда вы?

— Будь свидетелем, — сказал священник. — Я не заходил в Кармен. Но если ты помянешь там про меня, тебе дадут поесть.

— Почему… почему… — метис пытался повернуть мула, но у него не хватало сил. Мул все равно продолжал идти вперед.

Священник громко сказал:

— Запомни, я не был в Кармене.

Но куда теперь он мог идти? Ему представилось, что есть только одно место в этом штате, где он не подверг бы опасности невинного человека, каких берут в заложники. Но туда нельзя было идти в такой одежде.

Метис крепко держался за седло и заискивающе косился в его сторону:

— Вы не бросите меня здесь — одного.

Но это был уже совсем не тот человек, которого он оставлял на лесной дороге. Мул стоял сбоку, как барьер, качая головой, отделяя его от селения, где он родился. Он чувствовал себя бродягой без документов, которого гонят от любого пристанища.

Метис крикнул вслед:

— И это называется христианин?

Он кое-как изловчился, чтобы сесть прямо, и принялся зло выкрикивать ругательства, исче-

завшие в лесу, подобно ударам молота.

— Если я увижу вас снова, — говорил он, — пеняйте на себя…

У него, разумеется, были причины для ярости: он упустил семьсот песо.

— Я не забываю лиц! — в отчаянии крикнул он.

Глава II

Душным вечером молодые люди и девушки кругами прогуливались по площади, освещенной электрическими фонарями; мужчины в одну сторону, девушки — в другую, не разговаривая между собой. На северной стороне неба вспыхивали зарницы. Это напоминало религиозный обряд, смысл которого все забыли, но ради которого они все еще принаряжались. Иногда группы пожилых женщин, слегка возбужденных и смеющихся, присоединялись к шествию; у них осталось смутное воспоминание о том, как это бывало в те времена, когда еще не уничтожили всех книг. Человек с винтовкой наблюдал со ступенек казначейства; тощий солдатик сидел у дверей тюрьмы, держа ружье между коленями, а тени пальм целились в него, точно колючки. В

окне зубного врача горел свет, и были видны зубоврачебное кресло, красные плюшевые подушки, стаканы для полоскания на маленькой подставке и детский шкафчик, полный инструментов. В окнах частных домов, затянутых сетками, среди семейных фотографий качались в креслах-качалках старухи; они сидели потные, слишком тепло одетые — делать им нечего, говорить не о чем. Это была столица штата.

Мужчина в потертом твидовом костюме смотрел на все это, сидя на скамейке. Вооруженный отряд полицейских двигался к казармам, шагая не в ногу, с небрежно болтающимися винтовками. С каждого угла площадь освещалась трехламповыми фонарями, соединенными безобразным проводом, провисающим над головами; от скамейки к скамейке тщетно переходил нищий.

Он сел рядом с человеком в твидовом костюме и пустился в долгие объяснения. В его манерах было что-то развязное и в то же время угрожающее. Улицы по обе стороны от них спускались к реке, порту и заболоченной равнине. Бродяга сказал, что у него жена и очень много детей и что за последние недели он почти не ел; он замолчал и пощупал твидовый костюм мужчины.

— А во сколько вам это обошлось?

Внезапно часы пробили половину десятого, и погас свет.

— Не поверишь, как дешево.

Бродяга заметил:

— От одного этого можно прийти в отчаяние.

Он оглянулся туда-сюда, в то время как толпа спускалась вниз. Мужчина в твидовом костюме встал, бродяга — тоже и потащился за ним к концу площади; его плоские босые ступни шлепали по мостовой.

— Несколько песо для вас ничего не значат.

— Если бы ты знал, как много они значат.

Бродяга был раздражен:

— Человек, вроде меня, готов на все, лишь бы раздобыть несколько песо.

Теперь, когда всюду в городе погас свет, они стояли рядом во мраке.

— Вы меня презираете? — спросил бродяга.

— Нет, нет, ни в коем случае.

Чувствовалось, что каждое его слово бесит нищего.

— Порой мне кажется, что я готов на убийство.

— Это, конечно, очень скверно.

— Разве будет не справедливо, если я возьму человека за глотку?

— Голодный, конечно, имеет право искать

спасения.

Бродяга злобно посмотрел на него, пока тот говорил, словно обсуждая академическую проблему.

— А в моем случае, — сказал человек, — вам не стоит рисковать. У меня всего пятнадцать песо и двадцать пять сентаво. Я сам не ел уже двое суток.

— Матерь Божия! — воскликнул бродяга. — Вы крепкий орешек. Сердце-то у вас есть?

Человек в твидовом костюме внезапно хихикнул.

— Врете, почему же вы не ели, если у вас есть пятнадцать песо?

— Понимаешь, они мне нужны. Я хотел бы сначала… выпить.

— Чего?

— Того, что нездешний не знает, где раздобыть.

— Вы имеете в виду спиртное?

— Да, и вино.

Бродяга подошел вплотную; его ноги коснулись ног мужчины; он положил руку на плечо собеседника. Казалось, рядом во мраке стоят близкие друзья или даже братья; свет погас даже в домах, и такси, которые днем тщетно ждали

пассажиров, разъезжались — они погасили огни и исчезли за полицейскими бараками.

— Дядя, — сказал бродяга, — вам повезло. Сколько вы дадите?

— За выпивку?

— За знакомство с тем, кто добудет вам немного бренди — настоящего бренди из Веракруса.

— Для моего горла, — сказал человек в твидовом костюме, — нужно вино.

— Пульке или мескал? Он достанет все, что угодно.

— Это вино?

— Айвовое вино.

— Я отдам все, что есть, кроме мелочи, — торжественно поклялся мужчина, — за настоящее виноградное вино.

Где-то у подножия холма, у реки, застучал барабан и, равняясь на его дробь, шагали люди: полицейские шли спать.

— Сколько? — нетерпеливо повторил бродяга.

— Я отдам тебе все пятнадцать песо. А ты достанешь мне вина на сколько захочешь.

— Пошли.

Они начали спускаться с холма. На углу, от которого одна улица вела вверх, к аптеке и баракам, а другая вниз — к гостинице, гавани и конторе

«Объединенные банановые плантации», человек в твидовом костюме остановился. Вверх протопали полицейские с небрежно болтавшимися винтовками.

— Подождем минутку.

Среди солдат шел метис с двумя клыками, торчащими изо рта. Мужчина в твидовом костюме застыл в тени. Один раз метис оглянулся, и глаза их встретились. Потом полицейские вышли к площади.

— Пошли! Быстро!

— Мы им ни к чему, — сказал бродяга. — У них игра покрупнее.

— Как ты думаешь, зачем с ними этот человек?

— Почем знать, может быть, заложник.

— Если бы заложник, они бы связали ему руки, верно?

— Почем я знаю? — Бродяга держался с ворчливой независимостью, которая встречается в тех странах, где бедняки имеют право просить милостыню. — Хотите вы спиртного или нет? — спросил он.

— Мне нужно вино.

— Я не знаю, что у него будет, придется брать что дадут. — Он повел его вниз к реке и сказал: — Не знаю даже, в городе ли он.

Жуки собирались стаями, покрывая тротуар; они лопались под ногами, как грибы-дождевики; с реки тянуло сыростью. Бюст генерала белел в крохотном городском саду. Раскаленные мостовые, пыль; на первом этаже единственной гостиницы жужжал электрический вентилятор. Широкие деревянные ступени, покрытые жуками, поднимались вверх, на второй этаж.

— Я сделал все, что мог, — сказал бродяга.

На порог второго этажа вышел человек в черных форменных брюках и белой, тесно облегающей куртке: он шел из спальни с полотенцем через плечо. У него была седая аристократическая бородка, а вместо подтяжек — ремень. Где-то в трубах булькала вода, а жуки все взрывались, ударяясь о голую лампочку. Бродяга заговорил серьезно, и пока он говорил, свет тускнел и мерцал вполнакала. Верхнюю площадку загромождали плетеные качалки; на большой грифельной доске мелом были написаны имена постояльцев — всего трое на двадцать комнат.

— Джентльмена нет, — сказал бродяга, повернувшись к своему спутнику. — Так сказал хозяин. Будем ждать?

— Для меня время не имеет значения.

Они вошли в большую пустую спальню с

кафельным полом. Черная железная койка походила на вещь, которую случайно бросили при переезде. Они уселись рядом и стали ждать, а жуки прорывались сквозь дыры в москитных сетках.

— Это очень большой человек, — сказал бродяга. — Он двоюродный брат губернатора. Может достать все, что угодно. Но, конечно, вас ему должен представить тот, кому он доверяет.

— А тебе он доверяет?

— Я однажды работал на него, — ответил бродяга и добавил откровенно: — Он вынужден мне доверять.

— А губернатор об этом знает?

— Понятно, нет! Губернатор — человек жесткий.

В трубах время от времени шумела вода.

— А с чего ему мне доверять?

— Алкаша сразу видно. Вам придется еще не раз к нему обращаться. Товар у него хороший. Дайте-ка мне лучше ваши пятнадцать песо.

Он тщательно дважды пересчитал их и сказал:

— Я добуду вам бутылку лучшего бренди из Веракруса, увидите.

Свет погас, и они сидели в темноте. Койка скрипела, когда кто-нибудь из них шевелился.

— Мне не нужно бренди, — отозвался голос, — или, по крайней мере, совсем немного.

— Чего же вы хотите?

— Я же сказал: вина.

— Вино дорого.

— Не важно. Вина или ничего.

— Айвового вина?

— Нет-нет, французского.

— У него иногда бывает калифорнийское.

— Годится.

— Ему самому оно, конечно, не стоит ни гроша. Это товар с таможни.

Внизу снова заворчала динамо-машина, и зажегся тусклый свет. Открылась дверь, и хозяин поманил бродягу; начались долгие переговоры. Человек в твидовом костюме, сидя на кровати, прислонился к стене. Его подбородок был порезан в нескольких местах, там, где он проводил бритвой слишком усердно, лицо худое и болезненное — создавалось впечатление, что когда-то оно было округлым и полным, но потом щеки запали. Он походил на дельца, для которого настали тугие времена.

Бродяга вернулся и сказал:

— Джентльмен занят, но скоро придет. Хозяин послал за ним мальчика.

— А где он?

— Его нельзя отрывать. Он играет в бильярд с шефом полиции.

Он снова сел на кровать.

— А вы где остановились? Вы ведь нездешний, верно?

— Я здесь проездом.

— Этот джентльмен очень влиятельный. Нам следует предложить ему выпить. В конце концов, вы же не захотите все взять с собой? Какая разница, где пить.

— Я хотел бы немного взять домой.

— Какая разница? Дом — там, где есть стул и стакан.

— Все равно.

Снова погас свет, и на горизонте вспыхнула молния, словно свет проглянул через занавесь; звук грома долетел издали сквозь москитный полог, точно звук с другого конца города, где происходит воскресный бой быков.

— Чем вы занимаетесь? — дружелюбно спросил бродяга.

— Подзарабатываю как придется.

Они сидели молча, прислушиваясь к звукам шагов по деревянной лестнице. Дверь отворилась, но им ничего не было видно. Вошедший

грубо выругался и спросил:

— Кто тут?

Потом чиркнула спичка, осветила массивную сизую челюсть и погасла.

— А, это ты! — устало сказал вошедший.

— Я.

Это был мужчина с огромным одутловатым лицом, одетый в обтягивающий серый костюм. Револьвер оттопыривал его жилет.

— У меня нет ничего для тебя, — сказал он. — Ничего.

Бродяга проковылял через комнату и что-то зашептал серьезным тоном. Один раз он осторожно коснулся пальцем босой ноги начищенного ботинка собеседника. Тот вздохнул, надул щеки и сел, внимательно разглядывая койку, словно на ней были записаны его смутные мысли.

— Вы хотите бренди из Веракруса, так? — сказал он человеку в твидовом костюме. — Это противозаконно.

— Вовсе не бренди. Бренди я не хочу.

— Может быть, сойдет пиво?

Он вышел на середину комнаты, раздраженный и властный; его ботинки скрипели на плитках. Сразу видно, что это двоюродный брат губернатора.

— Я могу вас арестовать, — пригрозил он.

— Конечно, ваше превосходительство, — робко сказал человек в твидовом костюме.

— Думаете, у меня нет другого занятия, кроме как поить каждого проходимца, который привередничает.

— Я бы никогда не побеспокоил вас, если бы этот человек не…

Двоюродный брат губернатора сплюнул на пол.

— Но если вы, ваше превосходительство, желаете, я уйду…

— Я не жестокий человек, — сказал тот резко. — Я всегда стараюсь помочь своим товарищам, когда это в моих силах и не приносит вреда. Вы понимаете мое положение. Это спиртное достается мне совершенно законно.

— Разумеется.

— Я же должен оправдывать свои расходы.

— Разумеется.

— Иначе я бы прогорел. — Он осторожно приблизился к койке и стал медленно разбирать ее. — Вы не трепач? — спросил он, обернувшись, через плечо.

— Я умею хранить секреты.

— Я не против, чтобы вы говорили, но — людям

надежным.

В матраце была большая дыра; он вытащил из него пук соломы и снова заткнул им дыру. Гость в твидовом костюме смотрел с деланным равнодушием поверх бульвара на темный, грязный берег и мачты парусников; за ними вспыхивала молния, и приближались раскаты грома.

— Ладно уж, — сказал двоюродный брат губернатора, — могу поделиться с вами. Товар добрый.

— Но мне действительно нужно не бренди.

— Берите что дают.

— Тогда, пожалуй, я возьму назад свои пятнадцать песо.

— Пятнадцать песо! — оживился брат губернатора.

Бродяга вполголоса стал поспешно объяснять, что джентльмен хотел купить кроме бренди еще и вино. Он горячо торговался, стоя у кровати. Брат губернатора сказал:

— Вино очень трудно достать. Могу дать только две бутылки бренди.

— Одну бутылку бренди, а другую…

— Это лучшее веракрусское бренди.

— Но я люблю вино… не представляете, как мне хочется…

— Вино стоит немалых денег. Сколько вы мо-

жете еще заплатить?

— У меня осталось только семьдесят пять сентаво.

— Могу дать вам бутылку текилы.

— Нет, нет.

— Тогда добавьте еще пятьдесят сентаво и получится большая бутылка.

Он снова стал шарить в матраце, вытаскивая пучки соломы. Бродяга подмигнул человеку в твидовом костюме и стал жестами изображать, что откупоривает штопором бутылку и наливает в стакан.

— Вот, — сказал двоюродный брат губернатора. — Берете или нет?

— Беру, беру.

Брат губернатора сразу утратил свою мрачность. Он потер руки и сказал:

— Душная ночь! Кажется, в этом году дожди начнутся раньше времени.

— Может, ваше превосходительство окажет мне честь, выпив стаканчик бренди за нашу сделку?

— Может быть, может быть.

Бродяга открыл дверь и оживленным голосом попросил стаканы.

— Давненько я не пил вина, — сказал двою-

родный брат губернатора. — Не лучше ли нам спрыснуть сделку вином?

— Как будет вам угодно, — сказал человек в твидовом костюме. С выражением мучительной тревоги он смотрел, как вытащили пробку, и сказал: — Если вы не против, я выпью бренди.

Он криво, с усилием улыбнулся, наблюдая, как уменьшается вино в бутылке.

Сидя на кровати, все трое чокнулись. Бродяга пил бренди.

— Я горжусь этим вином, — сказал брат губернатора. — Отличное вино. Лучше калифорнийского.

Бродяга подмигнул и сделал знак человеку в твидовом костюме.

— Еще стаканчик, ваше превосходительство! — сказал он. — Можно предложить вам бренди?

— Это хорошее бренди. Но я думаю, что можно еще стаканчик вина.

Они наполнили стаканы.

— Я отнесу немного вина матери, — сказал человек в костюме. — Она любит пропустить стаканчик.

— И правильно делает, — сказал брат губернатора, опустошая свой стакан. — Так у вас есть мать?

— Мать есть у каждого.

— Вы счастливчик. А моя умерла. — Его рука потянулась к бутылке и схватила ее. — Порой мне ее недостает. Я называл ее «мой дружок». — Он наклонил бутылку: — С вашего позволения.

— Разумеется, ваше превосходительство, — сказал тот с тоской, делая глоток бренди.

— У меня тоже есть мать, — сказал бродяга.

— Нам-то что до этого? — грубо отозвался брат губернатора. Он откинулся, и койка заскрипела. — Я часто думаю, что мать обычно больше друг, чем отец. От нее веет миром, добротой и заботой. В годовщину ее смерти я всегда приношу цветы на ее могилу.

Человек в твидовом костюме вежливо сдержал икоту и сказал:

— Ах, если бы я тоже мог!

— Вы же говорили — ваша мать жива.

— Мне показалось, что вы говорите о бабушке.

— Как я мог? Своей бабушки я не помню.

— Я тоже.

— А я помню, — сказал бродяга.

— Много болтаешь, — сказал брат губернатора.

— Может быть, послать его завернуть бутылку… Чтобы не подводить ваше превосходительство, меня не должны увидеть…

— Погодите, погодите. Не к спеху. Я рад, что вы здесь. В этой комнате все к вашим услугам. Стаканчик вина?

— Лучше бренди.

— Тогда с вашего разрешения! — Он наклонил бутылку, и немного вина вылилось на простыню. — О чем мы говорили?

— О бабушках.

— Да нет! Я свою даже не могу вспомнить. Самым ранним моим воспоминанием…

Дверь открылась.

— Пришел шеф полиции, — сказал хозяин.

— Прекрасно, ведите его сюда.

— Стоит ли?

— Конечно, это хороший парень. — Он повернулся к остальным. — Впрочем, когда играешь в бильярд, ему нельзя доверять.

Крупный тучный мужчина, в фуфайке и белых брюках, с револьвером у пояса, показался в дверях.

— Входите, входите! — сказал брат губернатора. — Как ваша зубная боль? А мы тут толкуем о наших бабушках.

Он сердито повернулся к бродяге:

— Освободи место шефу.

Шеф стоял в дверях, наблюдая за ними с неко-

торым смущением.

— Так, так… — сказал он.

— У нас маленькая дружеская вечеринка. Присоединитесь? Это будет честью для нас.

Лицо шефа мигом просияло:

— Разумеется, немного… пива никогда не повредит.

— Верно. Налей шефу стаканчик пива.

Бродяга наполнил свой стакан вином и протянул его. Шеф сел на кровать, выпил, потом взял бутылку и сказал:

— Хорошее пиво. Очень хорошее. У вас одна бутылка?

Человек в твидовом костюме взглянул на него, застыв в тревоге.

— Боюсь, только одна.

— Ваше здоровье!

— Да, о чем мы все-таки говорили? — спросил брат губернатора.

— О том, что мы помним из своего раннего детства, — ответил бродяга.

— Первое, что я могу вспомнить… — начал задумчиво шеф. — А почему этот джентльмен не пьет?

— Я выпью немного бренди.

— Ваше здоровье!

— Ваше здоровье!

— Первое, что я могу отчетливо вспомнить — мое первое причастие. Волнение, мои родители вокруг меня…

— Сколько у вас было родителей?

— Двое, конечно.

— Как же они могли быть вокруг вас? Для этого нужно, по крайней мере, четырех!

— Ха-ха-ха!

— Ваше здоровье!

— Ваше здоровье!

— И вот такова, я говорил, ирония судьбы. Моим печальным долгом было присутствовать при расстреле старого священника, который тогда меня причащал. Я плакал — не стыжусь признаться. Одно меня утешает: возможно, он святой и молится за нас. Не всякий может сподобиться молитвы святого…

— Таким необычным способом…

— Да. Жизнь — это тайна.

— Ваше здоровье!

— Стаканчик бренди, шеф? — сказал человек в костюме.

— Но в этой бутылке осталось так мало, что я лучше…

— Мне очень хотелось бы отнести немного

матери.

— Такую каплю? Нехорошо, один осадок. — Он вылил оставшееся себе в стакан и причмокнул: — Если только у пива бывает осадок. — Потом он замер с бутылкой над стаканом и удивленно спросил: — Вы плачете?

Все трое с полуоткрытыми ртами уставились на мужчину в твидовом костюме.

— Это у меня всегда от бренди, — сказал он. — Извините, джентльмены. Я очень быстро хмелею и тогда вижу…

— Что видите?

— Не знаю. Вижу я, как гибнут все надежды мира.

— Вы поэт.

— Поэт — душа своей страны, — вставил бродяга.

Молнии все вспыхивали в окне — его словно задергивали белой занавеской — и гром загрохотал над ними. Единственная лампа под потолком замигала и потускнела.

— Плохо для моих людей, — сказал шеф, раздавив жука, который подполз слишком близко.

— Что плохо?

— Да то, что дожди начались так рано. Они кое-кого ловят.

— Гринго?

— Гринго это что! Губернатор узнал, что здесь до сих пор остался священник: вы знаете, как он на это смотрит. Будь я на его месте, я бы оставил беднягу в покое. Он помрет либо с голоду, либо от лихорадки, либо сдастся. Он не может причинить ни вреда, ни пользы. Никто до последнего времени даже не заметил, что он тут.

— Вы должны поторопиться.

— О, у него нет никаких шансов, разве что он переберется через границу. Мы нашли человека, который его знает, беседовали с ним, провели с ним целую ночь… Поговорим лучше о другом! Кому приятно быть в шкуре полицейского?

— А как вы думаете, где он?

— Вы удивитесь.

— Почему?

— Он здесь, то есть в этом городе. Простой вывод: с тех пор как мы стали брать по деревням заложников, ему некуда податься. Они его гонят, он им не нужен. Поэтому мы спустили на него этого парня, как гончую. Рано или поздно он найдет его.

— И много заложников пришлось вам расстрелять? — спросил человек в твидовом костюме.

— Еще нет, наверное, человека три-четыре. Да-

вайте прикончим это пиво. Ваше здоровье! — он со вздохом поставил пустой стакан. — Теперь, может, я выпью каплю вашего… сидрала — назовем это так.

— Да, конечно.

— А мы не встречались прежде? Ваше лицо мне напоминает…

— Не думаю, что имел честь.

— Вот еще одна тайна, необъяснимая вещь, — сказал шеф, протягивая длинную жирную ладонь и слегка оттесняя бродягу к спинке кровати. — Почему вам кажется, что видели раньше какого-нибудь человека или местность? Во сне это было или в предыдущей жизни? Я однажды слышал, как доктор объяснял, что это каким-то образом связано со зрением. Но он был янки. Материалист.

— Помню, я как-то… — сказал брат губернатора. Над портом сверкнула молния, и над крышей загрохотал гром. Таков был дух всего штата: гроза на улице, пустые разговоры о словах вроде «необъяснимого», «души», «источника жизни», которые повторялись вновь и вновь. Так сидели они на кровати, болтая, делать им было нечего, верить не во что и идти — некуда.

— Думаю, мне пора двигаться, — сказал человек

в твидовом костюме.

— Куда?

— К друзьям… — сказал он неопределенно и сделал жест, означающий великое множество друзей, которых у него не было.

— Вам надо взять с собой свою бутылку, — снисходительно сказал брат губернатора. — В конце концов, вы за нее заплатили.

— Спасибо, ваше превосходительство! — Он взял бутылку, где осталось на три пальца бренди. Бутылка из-под вина была, разумеется, пустой.

— Спрячьте ее, дядя, спрячьте, — сказал брат губернатора.

— Конечно, ваше превосходительство, я буду осторожен.

— Не нужно называть его «превосходительством», — сказал шеф. Он раскатисто рассмеялся и столкнул бродягу на пол.

— Нет-нет… Это… — Он осторожно выбрался наружу со следами слез на воспаленных глазах, а в передней услышал, как опять возобновился разговор — снова о необъяснимом, о душе — и так без конца.

* * *

Жуки исчезли, их разогнал дождь, он падал отвесно со стуком, словно кто-то вбивал гвозди в крышку гроба. Но воздух не стал свежее: пот и дождь смешивались на одежде. Священник приостановился на пороге гостиницы; сзади гудела динамо-машина. Потом он прошел к другой двери и заколебался, глядя мимо бюста генерала на парусные лодки у причала и старую баржу с жестяной трубой. Идти ему было некуда. Дождь не входил в его расчеты, он полагал, что сможет кое-как устроиться — переночевать на скамейке или у реки.

Двое солдат, горячо споря о чем-то, спускались к набережной. Дождя они не замечали, словно все было так скверно, что на это уже не стоило обращать внимания… Священник толкнул деревянную дверь, у которой стоял, и вошел в бар, чтобы спастись от дождя. Там он увидел ряды бутылок с газировкой, единственный бильярдный стол, кольца, которыми отмечали счет, и трех мужчин — чья-то кобура лежала на стойке. Священник двинулся слишком быстро и толкнул локтем человека, который целился по шарам. Тот раздраженно оглянулся. Матерь Божья! Это

был краснорубашечник. Неужели нигде нельзя укрыться, хотя бы ненадолго?

Священник робко извинился, осторожно пятясь к двери, но он снова слишком торопился. Его карман задел стену — бутылка звякнула. Три или четыре лица повернулись в его сторону со злобной радостью. Он был здесь чужаком, и они решили позабавиться.

— Что это у тебя в кармане? — спросил краснорубашечник. Он был очень молод, почти подросток, с золотыми зубами и самодовольной насмешливой улыбкой.

— Это лимонад, — сказал священник.

— Зачем же ты носишь лимонад с собой?

— Я запиваю им на ночь хинин.

Краснорубашечник с важным видом постучал кием по карману:

— Лимонад, говоришь?

— Да, лимонад.

— Ну-ка, посмотрим, что это за лимонад! — Он многозначительно повернулся к остальным. — Я за десять шагов чую контрабандиста!

Он засунул руку в карман священника и вытащил оттуда бутылку бренди.

— Вот, — сказал он, — я так и знал!

Священник отпрянул к двери и выскочил под

дождь.

— Держи его! — завопили голоса. Времени у парней было достаточно.

Он бежал по улице к площади, повернул налево, потом направо. Луны, к счастью, не было, улицы были погружены во мрак. Избегая освещенных окон, он останавливался, почти невидимый, и мог слышать, как они перекликаются. Преследователи не отставали: это было интересней бильярда, где-то раздался свисток — к погоне присоединилась полиция.

Когда-то предметом его честолюбивых надежд было получить назначение в этот город; долги остались бы в Консепсьоне. Петляя зигзагами по улицам, он думал о кафедральном соборе, о Монтесе и о канонике, с которым был когда-то знаком. Что-то скрытое в глубине, решимость спастись, позволило ему ощутить горький комизм всей ситуации — он смеялся, задыхался и снова смеялся. Он слышал их улюлюканье и свист в темноте, а дождь все лил, барабанил и прыгал по цементной площадке бесполезного фронтона, который остался от кафедрального собора. (Было слишком душно, чтобы играть в пелоту; и железные качели стояли у края площадки, как виселицы.) Он бросился вниз: в его голове возникла идея.

Крики приближались, а вскоре со стороны реки к погоне присоединились новые люди; преследовали его методично — он определил это по медленной рысце полицейских — официальных охотников. Он оказался меж двух огней, — между добровольцами и профессионалами.

Однако он знал нужные ворота, толкнул их, быстро забежал во дворик и закрыл их за собой. Прислушиваясь к шагам на улице, он стоял в темноте и тяжело дышал. А дождь все продолжал хлестать.

Тут он заметил, что кто-то следит за ним из окна: темное, сморщенное личико, похожее на мумифицированные головы, которые продают туристам.

— Где падре Хосе? — спросил он, подойдя к решетке.

— Там.

За спиной человека появилось другое лицо, освещенное колеблющимся огнем свечи, затем третье; лица вырастали как из-под земли. Он ощущал пристальные взгляды, когда прошлепал по лужам через двор и постучал в дверь.

Он не сразу узнал падре Хосе, стоящего в нелепой ночной рубашке с лампой в руках. Последний раз они встречались на пасторской конференции.

Хосе сидел в заднем ряду, грыз ногти и старался остаться незамеченным, но это было лишнее: ни один из деловитых соборных клириков даже не знал, что его пригласили. Странно, но теперь он куда известнее, чем они.

— Хосе! — тихо сказал священник, подмигивая ему сквозь тьму и дождь.

— Кто здесь?

— Вы меня помните? Конечно, прошли годы… помните конференцию в соборе?..

— Боже! — сказал падре Хосе.

— За мной гонятся. Нельзя ли на одну ночь, нельзя ли…

— Уходите. — сказал падре Хосе. — Уходите.

— Они не знают, кто я, думают — контрабандист, но в полиции они дознаются.

— Не говорите так громко. Моя жена…

— Мне бы где-нибудь укрыться, — зашептал священник. К нему снова вернулся страх. Наверное, кончилось действие бренди (в этом жарком климате хмель выветривается быстро — выходит вместе с потом) — а может быть, в очередной раз проснулась жажда жизни — какой бы она ни была.

Лицо падре Хосе при свете лампы выражало ненависть.

— Чего ради вы ко мне явились? На что рассчитывали? Если вы не уйдете, я позову полицию!.. Вам известно, *что* я за человек.

— Вы добрый, падре Хосе, я всегда это знал, — проговорил он умоляюще.

— Я закричу, если вы не уйдете.

Он пытался понять — откуда такая ненависть. На улице слышались голоса, препирательства, стук — значит, они обыскивают дома.

— Хосе, если я вас обидел, простите меня, — сказал он. — Я много мнил о себе, был горд, заносчив, я был плохим священником. В душе я всегда знал, что вы лучше меня.

— Уходите! — дико закричал Хосе. — Уходите, мне не нужны здесь мученики! Я ко всем вам больше не имею отношения. Оставьте меня! Я такой, какой есть. — Он пытался вложить всю свою злобу в плевок и плюнул ему в лицо, но плевок вышел слабым и не достиг цели. — Уходите и умирайте скорее. Вот что от вас требуется, — сказал он и хлопнул дверью.

Внезапно ворота дворика открылись, и ворвались полицейские. Священник заметил, что падре Хосе глядит из окна, а затем огромная фигура в белой ночной рубашке обхватила его и спешно, как ангел-хранитель, отгородила от

жалкой человеческой борьбы.

— Вот он! — произнес голос.

Это был тот самый юный краснорубашечник. Священник разжал кулак и бросил у стены дома Хосе комочек бумаги — как окончательный отказ от своего прошлого.

Он знал, что это начало конца — после всех этих лет! — и стал читать про себя покаянную молитву, пока они вытаскивали из его кармана бутылку бренди, но никак не мог сосредоточиться. Это напоминало формальное покаяние на смертном одре — молитвы даются как плод долгих упражнений и дисциплины; одного страха оказалось недостаточно. Он пытался думать о своем ребенке с сердечным сокрушением, но чувствовал только неутоленную жажду любви — что станет с ней? А сам грех его был таким давним, что его уродство побледнело, точно на старой фотографии; он даже приобрел род благообразия. Краснорубашечник разбил бутылку о булыжную мостовую; вокруг разлился запах спиртного, но слабый — там оставалось совсем немного.

Затем его увели; теперь, когда он был у них в руках, они обращались с ним дружелюбно, подшучивали над его попыткой убежать от них — все, кроме краснорубашечника, которому он

испортил игру. Священник был не в состоянии отвечать на их шутки; мысль о том, как спастись, овладела им, мучительная, навязчивая идея. Скоро ли они узнают, кто он на самом деле? Скоро ли он очутится лицом к лицу с метисом или с лейтенантом, который его тогда допрашивал? Они двигались плечом к плечу, не спеша, наверх, к площади. Ружейный приклад брякнул у входа в участок, куда они вошли: маленькая лампа коптила у грязной оштукатуренной стены; во дворе раскачивались гамаки; люди лежали в их сетках, словно связанные индюки.

— Можешь сесть, — дружелюбно сказал один из мужчин и толкнул его к скамье.

Теперь все казалось безысходным: часовой за дверью шагал взад-вперед, а во дворе среди гамаков звучал непрерывный храп спящих.

Кто-то обратился к нему; он поднял тоскливый взгляд:

— Что? — Очевидно, полицейские спорили с краснорубашечником.

— Ведь он хотел бежать! — заметил краснорубашечник. Передние зубы у него были как у зайца. — Я доложу губернатору, — сказал он.

— Признаешь себя виновным? — спросил полицейский.

— Да, — ответил священник.

— Прекрасно. Чего вам еще? Штраф пять песо. К чему беспокоить начальство?

— А кто получит пять песо?

— Не твое дело!

— Никто не получит, — внезапно сказал священник.

— Как это?

— А у меня всего двадцать пять сентаво.

Дверь внутренней комнаты открылась, и вышел лейтенант.

— Бог ты мой, что за шум? — спросил он.

Полицейский вяло и неохотно козырнул.

— Я поймал человека со спиртным, — сказал краснорубашечник.

Священник сидел, не поднимая глаз… «…ибо я распинал… распинал… распинал…» — покаяние не могло пробиться через заученные слова молитвы. Он не испытывал никаких чувств, кроме страха.

— Ну и что? — сказал лейтенант. — Мы их ловим без конца.

— Вести его к вам? — спросил один из полицейских.

Лейтенант оглядел покорно сгорбленную фигуру на лавке.

— Встань! — приказал он.

Священник встал. «Сейчас, — думал он. — Сейчас…» — и поднял глаза. Но лейтенант смотрел мимо, за дверь, где устало ходил взад-вперед часовой. Смуглое, худое лицо лейтенанта выглядело озабоченным и нервным…

— У него нет денег, — сказал один из полицейских.

— Матерь Божья! Сколько раз я вам говорил! — воскликнул лейтенант. Он сделал шаг к часовому и вернулся. — Обыщите его! Если у него нет денег, отправьте его в камеру. Дайте ему какую-нибудь работу.

Лейтенант вернулся к двери и вдруг наотмашь ударил часового по уху.

— Ты спишь! Двигайся, если имеешь представление о чести… о чести… — повторил он.

Ацетиленовая лампочка коптила у оштукатуренной стены, запах мочи тянулся со двора, а люди спокойно лежали, стянутые сетками гамаков.

— Записать его имя? — спросил сержант.

— Конечно, — ответил лейтенант, не глядя на него, и снова вышел быстрыми нервными шагами во двор мимо лампы. Он стоял там под дождем, который лил на его щегольской мундир,

и походил на человека, у которого что-то засело в мозгу, словно им владела тайная страсть, которая нарушала обычный ход его жизни. Он снова вернулся. На месте стоять он не мог.

Сержант втолкнул священника во внутреннюю комнату. Красочный рекламный календарь висел на облупившейся штукатурке. Смуглая метиска в купальнике рекламировала ситро; поверх кто-то четким учительским почерком написал карандашом самоуверенное утверждение, что людям нечего терять, кроме своих цепей.

— Имя? — спросил сержант.

— Монтес, — отвечал священник, не успев подумать.

— Где живешь?

Он назвал наугад какую-то деревню. Со своим портретом он не имел ничего общего. Там он сидел среди юных причастниц в белых муслиновых платьях. Кто-то обвел кругом его лицо, чтобы выделить. На стене была и другая фотография — гринго из Сан-Антонио в Техасе, обвиняемого в убийстве и ограблении банка.

— Ты, разумеется, купил бутылку у незнакомого человека, — сказал сержант с иронией в голосе.

— Да.

— И которого не сможешь узнать?

— Не смогу.

— Так, так, — одобрительно проговорил сержант, было очевидно, что он не желает раздувать дело.

Дружески взяв священника под руку, сержант повел его через двор; у него был огромный ключ, вроде тех, что используют как символ в нравоучительных пьесах. Несколько человек заворочались в гамаках; с одного свесилась тяжелая небритая челюсть, словно обрезок мяса на прилавке мясника: большое рваное ухо и голяшка в черных волосах. Священник ожидал, что вот-вот появится метис, узнает его и просияет от радости.

Сержант отпер маленькую зарешеченную дверь и, отстранив сапогом что-то, преграждавшее вход, сказал:

— Это хорошие парни. Здесь все хорошие парни. — Он прокладывал себе путь ударами ног. В воздухе висел отвратительный запах; в полной темноте кто-то плакал. Священник замешкался у порога, силясь что-либо рассмотреть; казалось, густой мрак шевелился.

— У меня пересохло в горле. Можно попить? — спросил он.

Зловоние било в нос и его тошнило.

— Утром попьешь, сейчас ты и так напился, —

сказал сержант.

Он положил свою большую руку на плечо священника, добродушно втолкнул его внутрь и запер дверь. Священник наступил на чью-то руку, ногу и крикнул в бессильном ужасе:

— Здесь нет места, я ничего не вижу! Кто эти люди?

Оттуда, где висели гамаки, послышался смех сержанта.

— Парень, — говорил он, — парень, ты что — никогда не бывал за решеткой?

Глава III

— Закурить есть? — спросил голос у его ноги.

Он отпрянул и наступил кому-то на руку.

— Воды! Быстрей! — раздался повелительный голос. Видно, человек думал, что нахрапом можно что-то выжать из новичка.

— Закурить есть?

— Нет, — сказал он тихо, — у меня вообще ничего нет.

Он почувствовал, как вокруг, подобно клубам дыма, сгустилась враждебность. Он снова пошевелился.

— Осторожно, ведро, — сказал кто-то.

Вот откуда шло зловоние. Священник замер, ожидая, пока привыкнет к темноте. Дождь на улице затихал; капли барабанили реже, гром удалялся; теперь можно было досчитать до сорока между вспышками молнии и раскатами. Значит, как уверяют, гроза отошла на сорок миль. Полпути до моря и полпути до гор. Священник стал шарить ногой, ища, где бы сесть, но здесь, видимо, совсем не было места. Молния снова блеснула, и он увидел гамаки в углу двора.

— Поесть не найдется? — спросил голос, а так как он не отвечал, вопрос повторили: — Поесть не найдется?

— Нет.

— Деньги есть? — спросил другой голос.

— Нет.

Вдруг в нескольких шагах от себя он услышал тихий стон женщины.

— Нельзя ли потише? — проговорил усталый голос.

Снова возня и приглушенное вскрикивание. Он с ужасом понял, что даже в этом мраке и тесноте люди предавались наслаждению. Тогда он снова пошарил ногой и стал дюйм за дюймом протискиваться к решетке. Голоса звучали на фоне непрерывного жужжания, словно маленький

электромотор гудел в заданном ритме. Когда на миг наступала тишина, оно заглушало человеческое дыхание. Это жужжали москиты.

Священник подвинулся метра на полтора к решетке, и его глаза стали различать головы — они казались развешанными тыквами, видимо, небо прояснилось.

— Кто вы? — спросил чей-то голос.

Он не ответил, ощутив панический страх, попятился и вдруг очутился у стены, противоположной входу. Рука его наткнулась на мокрые камни — камера была не более двенадцати футов в длину. Он понял, что сидеть можно, только на корточках. К нему прислонился старик: священник чувствовал, насколько он стар, по тому, какими невесомыми были его кости и слабым дыхание. Это мог быть человек, либо начинающий жить, либо уходящий из жизни, но тут едва ли мог бы оказаться ребенок.

— Это ты, Катарина? — вдруг спросил старик. Его дыхание превратилось в долгий терпеливый вздох, словно он ждет долго и может ждать без конца.

— Нет, это не Катарина, — сказал священник.

Едва он заговорил, как внезапно все затихли, прислушиваясь, будто речь шла о чем-то важном.

Потом снова возобновились возня и разговоры. Однако звук собственного голоса и общение с живым человеком успокоили священника.

— Конечно, вы не могли быть ею, — продолжал старик, — я не думал, что это она. Она никогда не придет.

— Это ваша жена?

— Да что вы, у меня нет жены.

— Вы сказали: Катарина.

— Это моя дочь.

Все смолкли, прислушиваясь, кроме тех двоих, что втихомолку предавались исступленному наслаждению.

— Наверное, ее сюда не пустят.

— Она никогда не станет сюда рваться, — сказал старик голосом, полным безнадежности.

Ноги священника, на которых он сидел, стали ныть.

— Если вы ее любите… — сказал он.

Где-то в куче темных тел снова вскрикнула женщина. Последний крик протеста и страсти.

— Во всем виноваты священники, — сказал старик.

— Священники?

— Священники.

— Но почему?

— Священники.

— Дед спятил, — сказал у его ног голос. — Что толку его спрашивать?

— Это ты, Катарина? — снова спросил старик и добавил: — Я знаю, что это не ты. Я просто спрашиваю.

— Мне нужно подать жалобу! — говорил кто-то. — Человек должен защищать свою честь, верно?

— Я ничего не понимаю в чести.

— Я был в кафе. А тот тип подошел и сказал: твоя мать — шлюха. Я ничего не ответил: он был при оружии. Мне оставалось только выждать — он пил слишком много пива — я знал, что он будет пить — и когда он накачался и вышел, я направился за ним. У меня была бутылка, я разбил ее о стенку. Ружья с собой у меня не было. Его семейка имеет руку у шефа полиции, а то бы я сюда не попал.

— Это ужасно — убить человека!

— Вы говорите, словно священник.

— Священники во всем виноваты, — сказал старик. — В этом вы правы.

— Что он хочет этим сказать?

— Да стоит ли обращать внимание на такого старика? Я вам хочу кое-что еще рассказать…

— Они отняли у него дочь, — произнес женский голос.

— Как?

— Она была незаконнорожденной. Они правильно сделали.

При слове «незаконнорожденная» его сердце мучительно сжалось, словно у влюбленного, при котором случайно заговорили о цветке, чье название созвучно с именем любимой. «Незаконнорожденная» — это слово наполнило его горькой радостью. Оно сделало ближе к нему его девочку, он, казалось, видел ее: беззащитную, под деревом, у свалки.

— Незаконнорожденная? — переспросил он, будто повторяя ее имя, с нежностью, которая пряталась за безразличием.

— Они сказали, что он не годится в отцы. Ну, конечно, когда священники бежали, ей пришлось уехать к нему. Куда ей еще было деваться? — Это прозвучало, как счастливый конец. А потом она добавила: — Разумеется, дочь ненавидела его. Так ее научили.

Он представил себе тонкие поджатые губы образованной женщины. Что она здесь делает?

— А почему старик в тюрьме?

— У него нашли распятие.

Зловоние от ведра все усиливалось; мрак окружал их глухой стеной, и было слышно, как кто-то справлял нужду: струя звенела по жестяным стенкам ведра.

— Священники не должны так поступать… — сказал он.

— Разумеется, они поступили правильно. Это же смертный грех.

— Неправильно было внушать ей ненависть к отцу.

— Они знают, что правильно.

— Значит, это были дурные священники… Грех был покрыт. Их долг — учить добру, любви…

— Вы не знаете, что правильно. А священники знают.

После минутного колебания он отчетливо произнес:

— Я сам священник.

Похоже, это конец: надеяться больше не на что. Итак, десятилетие охоты за ним пришло к концу. Вокруг воцарилось молчание. Эта тюрьма очень напоминала мир, полный похоти, преступлений и горестной любви; смрад ее достигал небес; но священник понял, несмотря ни на что, здесь можно обрести покой, если знаешь ясно: времени почти не осталось.

— Священник? — произнесла, наконец, женщина.

— Да.

— *Они* знают?

— Пока нет.

Он почувствовал, как кто-то тронул его за рукав.

— Не следовало говорить этого нам, — сказал голос. — Здесь, отец, люди всякого сорта. Убийцы…

Тот, кто рассказал ему о своем преступлении, сказал:

— Ты обо мне так думаешь. Если я убил человека, это не значит, что я… — Со всех сторон зашептались, а тот же голос с горечью продолжал:

— Я не доносчик. Просто, когда тебе говорят: «Твоя мать шлюха»…

— Никому не надо на меня доносить, — сказал священник. — Это грех. Днем они сами дознаются.

— Вас расстреляют, отец, — сказал женский голос.

— Конечно.

— И вы не боитесь?

— Разумеется, боюсь.

Из того угла, где занимались любовью, раздался

новый голос. Он звучал уверенно и убежденно:

— Мужчина не должен бояться таких вещей.

— Не должен?

— Миг боли — что еще? Этого все равно не избежать.

— И все же я боюсь, — сказал священник.

— Зубная боль хуже.

— Не каждому дано быть смелым.

— Все вы, верующие, такие, — сказал голос с презрением. — Христианство делает вас трусами.

— Возможно, вы и правы. Вы поймите: я плохой священник и плохой человек. Умереть в состоянии смертного греха, — он смущенно хмыкнул, — тут призадумаешься.

— Вот! Что я говорил! Вера в Бога делает трусом. — В голосе слышалось торжество, будто что-то было доказано.

— Ну и что? — сказал священник.

— А то, что лучше не верить и быть смелым.

— Понимаю, так, так… Конечно, если бы можно было поверить, что губернатора и полиции нет на свете, что эта тюрьма — вовсе не тюрьма, а сад, какими бы смелыми мы стали.

— Ерунда!

— Но если нам ясно, что тюрьма — это тюрьма,

а губернатор на своем месте несомненно существует, какой толк с того, что мы будем смелыми на час-другой?

— Никто не скажет, что эта тюрьма — не тюрьма.

— Вот как! Вы так думаете? Видно, что вы не слушали политических речей.

Ноги священника отчаянно ныли, ступни свела судорога, и, чтобы прекратить ее, надо было пошевелиться, но он не мог этого сделать.

Полночь еще не наступила: до рассвета оставались бесконечно долгие часы.

— Подумать только! — сказала женщина вдруг. — Здесь, среди нас — мученик…

Священник не мог сдержать смеха.

— Не думаю, — сказал он, — что мученики похожи на меня.

Вдруг он посерьезнел и, вспомнив слова Марии, что будет нехорошо, если из-за него станут глумиться над Церковью, продолжал:

— Мученики — святые люди. Неверно думать, что они мученики лишь потому, что погибли… нет. Говорю вам, что я нахожусь в состоянии смертного греха. Я совершил то, о чем не могу говорить вслух, об этом можно сказать только шепотом, в исповедальне.

Пока он говорил и все слушали внимательно, словно он произносил проповедь в церкви, он задавался вопросом: где сейчас сидит его неотвратимый Иуда, но не мог опознать его с такой уверенностью, как в лесной хижине. Им овладела огромная и необъяснимая нежность к обитателям этой тюрьмы. На ум ему пришли слова: «Так возлюбил Бог мир…», и он сказал:

— Никогда, дети мои, вы не должны думать, будто святые мученики похожи на меня. Меня надо называть по-другому. Я слышал, как вы меня называли: «поп-пропойца». Я здесь потому, что у меня в кармане нашли бутылку бренди.

Он попытался освободить свои ноги. Судорога прошла, теперь они онемели и ничего не ощущали. Все равно. Ему не придется долго ими пользоваться.

Старик все ворчал, и мысль священника вернулась к Бригитте. Мир был понятен ей, как врачу черный рентгеновский снимок. Он отчаянно хотел спасти ее, но знал приговор хирурга: болезнь неизлечима.

Женский голос сказал просительно:

— Немного выпить, отец, это не так страшно.

Он подумал: почему эта женщина здесь? Может быть, за то, что у нее дома нашли икону? У нее

нудный, настойчивый тон благочестивой дамы. Так глупо хранить эти иконы любой ценой. Почему бы не сжечь их? Без них можно обойтись.

— Я ведь не только пьяница, — сказал он строго. Судьба таких благочестивых женщин всегда внушала ему тревогу, они, как политики, жили иллюзиями; он боялся за них. Так часто они встречали смерть с несокрушимой самоуверенностью, без любви и прощения. Следовало, насколько возможно, избавить их от сентиментальных представлений о добре.

— У меня есть ребенок, — сказал он твердо.

Какая достойная женщина! Ее голос во мраке продолжал оправдывать его; он не мог уловить ее слов; понял только, что она говорит ему что-то о благоразумном разбойнике.

— Дитя мое! — сказал он. — Разбойник покаялся, а я нет.

Он вспомнил, как Бригитта вошла в хижину, ее темный, злой и понимающий взгляд и солнце за ее спиной.

— Я не умею каяться.

Это была правда. Он утратил эту способность. Он не мог сказать себе, что хотел, чтобы его греха никогда не было, потому что сам грех казался ему сейчас таким ничтожным — и он любил плод

этого греха. Он нуждался в исповеднике, который медленно провел бы его по мрачным путям, ведущим к сожалению и раскаянию.

Теперь женщина молчала; он подумал: не был ли он с ней слишком резок? Если ее вере помогало убеждение, что он мученик… Но он отбросил эту мысль. Правда прежде всего. Он слегка пошевелился и спросил:

— Светать скоро будет?

— В четыре, в пять, — отозвался мужчина, — откуда мы можем знать, отец, часов здесь нет.

— Вы тут давно?

— Три недели.

— И вас все время держат под замком?

— Нет, нас выводят мести двор.

Он подумал: вот когда обнаружат, кто я, если не раньше, ведь наверняка один из них поспешит донести. Он долго раздумывал и в конце концов объявил:

— За меня обещали награду: пятьсот-шестьсот песо, кажется.

Сказав это, он замолк. Он не мог толкать кого-то на предательство — это значит соблазнять его на грех. Но вместе с тем, если здесь был доносчик, то почему этому несчастному лишиться награды? Совершить такой ужасный грех, можно сказать,

убийство и не иметь награды в этом мире? Это несправедливо, думал он.

— Здесь никому не нужны их проклятые деньги, — сказал голос.

Снова необычайное чувство нежности охватило его. Он был просто преступником среди других преступников… У него возникло ощущение товарищества, которого он никогда не знал прежде, когда благочестивые люди целовали его руку в черной перчатке.

Голос набожной женщины зазвучал истерически:

— Так глупо говорить им это. Вы не знаете, что это за публика, отец. Воры, убийцы…

— Ну а вы почему здесь? — зло спросил какой-то голос.

— У меня дома были хорошие книги, — заявила она с невыносимой гордостью. Ему не удалось поколебать ее самодовольства.

— Они есть повсюду — не только тут, — сказал он.

— Хорошие книги?

Он усмехнулся:

— Нет-нет. Воры, убийцы… Если бы у вас было больше опыта, дитя мое, вы бы знали, что есть вещи похуже…

Старик, по-видимому, погрузился в тяжелый сон. Голова его склонилась на плечо священника, и он недовольно бормотал. Один Бог знает, как нелегко было менять позу в этом помещении. Казалось, трудность возрастала по мере того, как длилась ночь и затекали ноги. Он не мог теперь шевельнуть плечом: старик проснется и проведет без сна лишнюю мучительную ночь. «Да, — подумал священник, — его обокрали такие, как я: это лишь справедливо, что я терплю неудобства…».

Он сидел молча, неподвижно, прислонясь к сырой стене, поджав ноги, которые потеряли чувствительность, как у прокаженного. Москиты продолжали звенеть, отгонять их, махая руками, было бесполезно. Они заполняли всю камеру, словно стихия. Кому-то, как старику, удалось заснуть, и теперь он храпел, смешно и смачно посапывая, как человек, который хорошо выпил, закусил и теперь дремлет после сытного обеда… Священник пытался определить, который час; сколько времени прошло с того момента, когда он встретил на площади бродягу? Вероятно, около полуночи. Впереди такие же долгие часы.

Разумеется, это конец, но в то же время надо быть готовым ко всему, даже к побегу. Если Бог хочет, чтобы он спасся, Он выхватит его из-под

залпов в миг расстрела. Но Бог милосерд; есть, конечно, только одна причина, которая могла бы побудить Бога лишить его Своего покоя, — если только покой вообще существует: он должен остаться, чтобы послужить для спасения души — своей или других. Но какой толк мог быть теперь от него? Он в положении беглеца; пойти в деревню, чтобы это стоило кому-нибудь жизни, быть может, непокаявшемуся, пребывающему в смертном грехе, он не смел. Не погибнет ли душа просто потому, что он упрям, горд и не смиряется с поражением? Литургии он давно уже не мог служить — вина нет. Оно пошло в глотку шефа полиции. Все было бесконечно сложно. Смерти он все еще боялся, а к утру этот страх возрос, однако она начинала манить его своей простотой.

Набожная женщина шептала у него над ухом: ей каким-то образом удалось приблизиться к нему.

— Отец, вы примете мою исповедь? — говорила она.

— Дитя мое, это совершенно невозможно. Как мы сможем сохранить тайну?

— Я так давно не исповедовалась…

— Прочтите покаянную молитву. Нужно, милая, надеяться на Божие снисхождение…

— Я не отказываюсь пострадать…

— Ну что ж, вот вы и здесь.

— Это пустяки. Утром моя сестра принесет деньги и заплатит за меня штраф.

Где-то у дальней стены снова началась любовная игра. Об этом легко было догадаться — послышались движения, сдавленное дыхание, а потом стон.

— Почему вы их не остановите? — громко, с гневом сказала набожная женщина. — Скоты, животные!

— И вы хотите каяться в таком состоянии?

— Но это мерзость…

— Не думайте так. Это опасно. Потому что однажды мы обнаруживаем, что в наших грехах есть немало прекрасного.

— Прекрасного! — сказала она с отвращением. — Здесь? В этой камере? Когда вокруг посторонние?

— Немало прекрасного. Святые говорят о красоте страдания. Ну, а мы с вами не святые. Страдания для нас только мерзость. Смрад, теснота и боль. Для них, в их углу — оно прекрасно. Нужно многому научиться, чтобы видеть вещи глазами святого; святой обретает тонкое чувство прекрасного и может смотреть сверху вниз на

убогие вкусы невежд. Но мы себе такого позволить не можем.

— Ведь это же смертный грех!

— Как знать? Вероятно. Но я, видите ли, — плохой священник. Я знаю — по опыту — как много прекрасного увлек за собой сатана, когда пал. Никто никогда не говорил, что падшие ангелы были отвратительными существами, — нет, они были молниеносными подобно молниям, светлыми и…

Снова послышался стон, полный невыносимого наслаждения.

— Остановите их! — сказала женщина. — Это безобразие.

Он почувствовал, как пальцы схватили его колено, и сказал:

— Мы здесь все сокамерники. В данный момент желание пить у меня сильнее всего на свете, сильнее, чем жажда Бога. Это тоже грех.

— Теперь я вижу, что вы плохой священник, — сказала женщина. — Я не верила, а теперь верю. Вы сочувствуете этим скотам! Если б ваш епископ слышал…

— Э! Епископ очень далеко отсюда.

Он подумал о старце, который живет сейчас в столице, в одном из безобразных благочестивых

домов, наполненных иконами и религиозными картинами, и служит литургии по воскресеньям на одном из соборных алтарей.

— Когда я выберусь отсюда, я напишу…

Он не мог сдержать смех. Она не понимала, как все переменилось.

— Если епископ получит письмо, — сказал он, — ему будет интересно узнать, что я еще жив.

Потом он снова стал серьезным. Пожалеть ее было куда труднее, чем метиса, который преследовал его в лесу неделю назад; ее случай тяжелее. Того еще можно оправдать из-за бедности, лихорадки, бесчисленных унижений.

— Не надо злиться, — сказал он. — Лучше помолитесь за меня.

— Чем скорей вы погибнете, тем лучше.

В темноте он не мог видеть ее, но на память ему из прежних дней приходило достаточно лиц, которые обладали таким же голосом. Когда внимательно рассматриваешь мужчину или женщину, их всегда становится жалко, потому что в них есть нечто от образа и подобия Божия… Когда видишь морщинки в углах глаз, линию рта, волосы, человека нельзя ненавидеть. Ненависть — это лишь недостаток воображения. Он вновь

почувствовал огромную ответственность за эту благочестивую даму.

— Люди вроде вас и отца Хосе, — сказала она, — делают истинную религию мишенью для насмешек.

Ее тоже, как и метиса, извиняло многое. Он представил себе гостиную, в которой она проводила дни в кресле-качалке, в окружении семейных фотографий и в полном одиночестве.

— Вы ведь не замужем? — спросил он мягко.

— Зачем вам это знать?

— И у вас никогда не было призвания к монашеству?

— В него не поверили, — сказала она с горечью.

«Бедная женщина! — подумал он. — У нее ничего нет в жизни, совсем ничего. Если бы только найти нужные слова...». С чувством безнадежности он откинулся к стене, стараясь не разбудить старика. Но нужные слова не приходили ему в голову. А сейчас ему труднее, чем прежде, найти подход к такому человеку. В прежние дни он знал бы, что сказать ей, совсем не испытывая жалости, рассеянно отделался бы одной-двумя банальностями. Теперь он чувствовал себя никчемным: он был преступником и говорил с преступником; он

опять ошибся, пытаясь разрушить ее самодовольство. Пусть бы она видела в нем мученика.

Он закрыл глаза и сразу же увидел сон: он стоит у двери, барабаня в нее, прося убежища, но никто не отвечает — было слово, пароль, которое могло бы его спасти, но он его забыл. В отчаянии он перебирал: сыр, ребенок, превосходительство, Калифорния, молоко, Веракрус… Ноги у него подкосились, и он опустился у двери. Потом он понял, зачем хотел войти: его вовсе не преследовали, он ошибся. Тут лежала его девочка, она умирала от кровотечения, и это был дом врача. Он заколотил в дверь и крикнул: «Пусть я не знаю нужного слова — есть ли у вас сердце!» Девочка умирала и смотрела на него взрослыми понимающими глазами. «Ты животное», — сказала она, и он проснулся в слезах. Он проспал, должно быть, лишь несколько секунд, потому что женщина все еще толковала ему о призвании, которое было отвергнуто.

— Ведь это вас мучило? — спросил он. — Так страдать из-за этого лучше, чем быть счастливой монахиней.

Сказав это, он сразу же подумал: «Глупое замечание, какой в нем смысл? Почему я не в состоянии сказать ей что-то, что она сохранит в

памяти?» Он прекратил попытки. Место это очень похоже на весь мир: люди хватались за любую возможность урвать наслаждение и потешить гордость, невзирая на тесноту и неудобство; и тут некогда заниматься чем-то осмысленным, они мечтали лишь о бегстве.

Заснуть он уже не мог: он снова торговался с Богом. На сей раз, если он убежит из тюрьмы, то убежит совсем. Переправится на север через границу. Бегство его было настолько невероятным, что, если оно удастся, его следует считать явным знаком — указанием, что он больше приносил вреда своим примером, чем пользы, изредка принимая исповеди. Старик зашевелился у него на плече; ночь никак не кончалась. Всюду было так же темно, часы нигде не били, и нельзя понять, сколько прошло времени. Его течение отмечалось только звуком, когда кто-нибудь мочился.

* * *

Вдруг он заметил, что различает чье-то лицо, потом еще одно; он уже начал забывать, что новый день когда-нибудь наступит, — так люди забывают, что когда-нибудь придет смерть; осознание того, что время движется к концу, приходит внезапно — в скрипе тормозов или в

свисте выпущенной пули. Постепенно все голоса превратились в лица — никаких открытий это не принесло. Исповедальня приучает определять по голосу отвислую губу, убегающий подбородок или фальшивую искренность слишком честных глаз. В нескольких шагах от себя он увидел набожную женщину, забывшуюся тяжелым сном: чопорный рот ее приоткрылся, обнажив зубы, прочные, словно надгробья; увидел старика; хвастуна в углу и его расхристанную женщину, спящую поперек его колен. Сейчас, когда наступил день, бодрствовал лишь он один да еще маленький мальчик-индеец, который сидел, скрестив ноги, у двери с выражением любопытства и радости, словно никогда не бывал в такой приятной компании. По ту сторону двора стала видна побеленная стена. Он начал прощаться с этим миром, но не мог вложить в покаянную молитву сердце. Свою греховность он ощущал не так ясно, как смерть.

Одна пуля, думал он, почти наверняка попадет в сердце — должен же быть хотя бы один хороший стрелок в команде. Жизнь покинет его «в долю секунды» — так обычно выражаются. Однако всю ночь он осознавал, что время зависит от боя часов и от передвижения света. Но часов не было, а свет

оставался неизменным. На самом деле никто не знает, какой долгой может быть секунда боли. Она может длиться, пока человек в чистилище… или вечно. Почему-то он вспомнил человека, умиравшего от рака, которому он отпускал грехи. Родные закрывались платками, так нестерпимо было исходившее от него зловоние. Нет, он не святой. В мире нет ничего столь уродливого, как смерть.

— Монтес! — крикнул голос со двора.

Он встрепенулся, сидя на своих онемевших ногах. «Костюм теперь ни на что не похож, — подумал он автоматически, — перепачкан, пропитан грязью тюремного пола и запахом сокамерников». Священник приобрел его с большим риском в магазине внизу у реки, прикинувшись мелким фермером, который хочет пофорсить. Потом он вспомнил, что костюм послужит ему уже недолго — эта мысль причинила ему странную боль, как будто перед ним в последний раз захлопнулась дверь дома.

— Монтес! — нетерпеливо повторил голос.

Священник вспомнил, что теперь это его имя. Он отвел глаза от своего погибшего костюма и увидел, что сержант отпер дверь камеры.

— Ко мне, Монтес!

Он осторожно прислонил голову старика к сырой стенке и попытался встать, но ноги не повиновались ему.

— Ты что, собираешься спать всю ночь? — ехидно заметил сержант: что-то привело его в раздражение, он уже не был дружелюбным, как накануне. Он пнул ногой человека, спящего у двери.

— Эй вы! Вставайте все! Выходите во двор!

Повиновался только мальчик-индеец. Он выскользнул, сохраняя выражение невозмутимого счастья. Сержант недовольно заворчал:

— Грязные собаки! Они что, думают, мы будем их мыть? Эй, Монтес!

Жизнь возвращалась в ноги вместе с болью. Священник дотащился до двери.

Двор вяло пробуждался к жизни. Люди стояли в очереди к единственному крану, где они ополаскивали лица; человек в куртке и штанах сидел на земле, чистя винтовку.

— Идите во двор умываться! — заорал сержант. Однако, когда священник вышел, он грубо остановил его:

— К тебе это, Монтес, не относится.

— Почему?

— На тебя у нас другие планы, — сказал сер-

жант.

Священник стоял, ожидая, пока его товарищи по камере выходили во двор. Один за другим они миновали его; он смотрел не на их лица, а на ноги, стоя у двери, точно живое искушение для них. Никто не произнес ни слова; прошаркали мимо и женские ноги в черных туфлях на низких стоптанных каблуках. Его охватило чувство собственной никчемности. Не поднимая глаз, он шепнул:

— Молитесь за меня.

— Что ты сказал, Монтес?

Солгать он не мог; казалось, за десять лет весь его запас *лжи* исчерпался.

— Ты что сказал?

Ноги в туфлях остановились.

— Он попросил милостыню, — произнес женский голос. И добавил безжалостно: — Ему следовало быть умнее. У меня для него ничего нет. — Затем она, шаркая, побрела во двор.

— Хорошо спалось, Монтес? — насмешливо спросил сержант.

— Н-не очень.

— А ты на что рассчитывал? Это научит тебя любить бренди, так ведь?

— Да… — Он думал, долго ли будет тянуться эта

волынка.

— Так. Если ты тратишь все деньги на бренди, тебе придется немного поработать, чтобы оправдать ночлег. Сходи в камеры за ведрами, да смотри не расплескай их — здесь и так вонища.

— А куда их отнести?

Сержант указал на дверь уборной за краном.

— Кончишь — доложишь, — сказал он и пошел назад во двор, выкрикивая приказы.

Священник нагнулся и взял ведро; оно было полное и очень тяжелое; он пошел через двор, сгибаясь от тяжести; пот заливал глаза. Он протер их и увидел одно за другим в очереди к крану знакомые лица — заложники. Здесь был Мигель, — он помнил, как его уводили; мать его плакала, помнил усталую злость лейтенанта и солнечный восход. Они тоже его заметили; он опустил тяжелое ведро и посмотрел на них. Если бы он их не узнал, это было бы похоже на намек, просьбу, мольбу, чтобы они продолжали страдать, а ему дали спастись. Мигель был избит: под глазом у него виднелась ссадина — мухи жужжали вокруг нее, как вокруг ран на боках мула. Потом очередь двинулась дальше; они проходили мимо него, опустив головы; их сменили незнакомые ему люди. «Боже! — молился он

про себя. — Пошли им кого-нибудь достойного, за кого они могли бы страдать!». Ему казалось дьявольской насмешкой, что они приносили себя в жертву за «попа-пропойцу», который прижил незаконного ребенка. Солдат в одних штанах сидел с ружьем между колен, обрезая ногти и обкусывая заусеницы. Священник почему-то ощутил одиночество от того, что они не подали виду, что знают его.

Уборной служила яма, перекрытая двумя досками, где мог встать только один человек. Священник опорожнил ведро и вернулся через двор к рядам камер — их было шесть. Одно за другим он выносил ведра; один раз ему пришлось остановиться, потому что его стошнило; шлеп, шлеп — туда, сюда, через двор…

Он приблизился к последней камере; в ней кто-то был: у стены лежал человек; утреннее солнце освещало его ноги. Мухи жужжали вокруг наблеванной на полу кучи. Глаза открылись и следили за священником, нагнувшимся к ведру; выступали два клыка…

Священник дернулся и плеснул на пол.

— Обождите минутку, — сказал метис ворчливо-фамильярным тоном. — Вы не должны здесь этим заниматься. — И пояснил гордо: — Я не за-

ключенный. Я гость.

Священник сделал извиняющийся жест — говорить он боялся — и шагнул прочь.

— Обождите, — потребовал метис. — Идите сюда.

Священник упорно стоял на месте, повернувшись, у двери.

— Идите сюда! — сказал метис. — Вы заключенный, так ведь? А я гость губернатора. Вы что, хотите, чтобы я крикнул полицейского? Тогда делайте, что говорят: идите сюда.

Казалось, это была Божья воля… окончательная… Он приблизился с ведром в руке и стоял подле большой, плоской голой ступни, а метис смотрел на него из угла, спрашивая резко и тревожно:

— Что вы здесь делаете?

— Убираю.

— Вам ясно, о чем я спрашиваю!

— Меня поймали с бутылкой бренди, — ответил священник, стараясь говорить более грубым голосом.

— Я знаю вас, — сказал метис. — Не мог глазам поверить, но когда вы заговорили…

— Навряд ли…

— Голос того самого священника, — сказал

метис с отвращением. Он напоминал пса, встретившего чужака. Он невольно ощетинился. Толстый большой палец враждебно пошевелился. Священник поставил ведро.

— Ты пьян, — возразил он безнадежно.

— Пиво, пиво, — отозвался метис, — ничего, кроме пива. Они обещали мне все самое лучшее, но им нельзя доверять. Думаете, я не знаю, что припрятано у их шефа?

— Мне нужно вылить ведро.

— Только сделайте шаг, и я закричу. Мне надо хорошенько подумать, — жалобно проговорил он.

Священник ждал, ему больше ничего не оставалось, он мог рассчитывать только на «милость победителя» — глупое выражение, потому что эти малярийные глаза никогда не знали, что такое милость. Уже то было хорошо, что не надо было унижаться до просьб.

— Видите ли, — пустился метис в подробные объяснения. — Я здесь удобно устроился. — Он небрежно пошевелил желтыми пальцами ног рядом с блевотиной. — Хорошая жратва, пиво, компания, и крыша не протекает. Можете мне не говорить, что потом будет: меня выбросят как собаку. Как собаку! — Голос его зазвучал визгливо

и возмущенно. — За что вас взяли? Вот что я хочу знать. Я считаю, что это нечестно, ведь это мое дело — вас разыскать, так? Кого наградят, если вас уже забрали? Не удивлюсь, если этого ублюдка-сержанта! — Он горестно задумался. — В наше время никому нельзя доверять.

— Наградят краснорубашечника, — сказал священник.

— Краснорубашечника?

— Он меня арестовал.

— Матерь Божья! — воскликнул метис. — Этих губернатор не обидит. — Он умоляюще поднял глаза. — Вы грамотный человек. Посоветуйте, что делать?

— Это было бы убийство, — сказал священник. — Смертный грех.

— Да я не о том. Мне нужна награда. Понимаете, покуда они не знают, мне здесь вполне хорошо. Может же человек отдохнуть пару недель? Вы ведь все равно не сможете далеко убежать, правда? Лучше выдать вас не тут. Где-нибудь в городе. Думаю, тогда никто не сможет претендовать… Бедняку приходится все предусматривать, — добавил он с досадой.

— Наверное, — заметил священник, — они и в этом случае дадут вам что-нибудь.

— Что-нибудь! — воскликнул метис, приподнявшись и пытаясь встать. — А почему не все?

— В чем дело? — раздался голос сержанта. Он стоял в дверях, залитый солнечным светом, и глядел внутрь.

— Он попросил, чтобы я смыл его блевотину, — медленно ответил священник. — Но я сказал, что вы мне не приказывали…

— Он гость, — сказал сержант. — Он имеет право. Делай что он говорит.

Метис самодовольно ухмыльнулся:

— Можно еще бутылочку, сержант?

— Пока еще рано, ты должен сначала осмотреть город.

Священник поднял ведро и пошел через двор, предоставив им спорить. У него было ощущение, словно в спину ему нацелено дуло; он вошел в уборную и опорожнил ведро; потом снова вышел на солнце — теперь дуло было направлено ему в грудь. Оба стояли в дверях камеры и о чем-то спорили. Он шел через двор; они наблюдали за ним.

— Ты говоришь, что у тебя разлилась желчь и с утра ты плохо видишь, — сказал сержант. — Тогда сам чисти за собой блевотину, если не делаешь *свою* работу…

Метис с унылым лукавством подмигнул свя-

щеннику за спиной сержанта.

Теперь, когда непосредственный страх прошел, священник чувствовал только сожаление. Бог решил. Он должен продолжать жить, выбирать, действовать на собственный страх и риск, строить планы…

Ему понадобилось еще полчаса, чтобы закончить уборку камер, выплескивая по ведру воды на пол каждой; он видел, как исчезла набожная дама — словно ее и не было — ушла через ворота, где ее ждала сестра с деньгами на штраф; обе были закутаны в черные шали и походили на вещи, купленные на рынке, — вещи твердые, сухие, подержанные. Затем он доложил сержанту, а тот проверил камеры, обругал его и велел лить больше воды; потом сержанту все это вдруг надоело, и он сказал, что можно идти к шефу за разрешением на освобождение. Священник прождал еще час на лавке у двери шефа, наблюдая, как часовой задумчиво шагает взад-вперед под палящим солнцем.

Когда полицейский наконец ввел его, за столом сидел не шеф, а лейтенант. Священник стоял рядом с собственной фотографией на стене и ждал. Один раз он быстро, нервно взглянул на мятую, старую газетную вырезку и с облегчением

подумал: теперь я не то, что прежде.

Каким несносным существом, наверное, он был в те дни — и однако, тогда он был сравнительно чист. Вот еще одна тайна: ему казалось, что прежние простительные грехи — нетерпение, мелкая ложь, гордыня, упущенные возможности делать добро — больше отдаляют от благодати, чем самые тяжкие грехи. Тогда, пребывая в невинности, он не испытывал любви ни к кому; теперь в своем падении он научился…

— Убрал он камеры? — спросил лейтенант. Он не поднимал глаз от бумаг и продолжал: — Скажите сержанту, мне нужно двадцать человек с прочищенными винтовками. Даю две минуты.

Он уставился на священника отсутствующим взглядом.

— Ну, чего ты ждешь?

— Разрешения уйти, ваше превосходительство.

— Я не превосходительство. Научись называть вещи своими именами. Ты здесь раньше бывал? — спросил он резко.

— Никогда.

— Твоя фамилия Монтес? За последние дни мне часто попадались люди с этой фамилией. Это все твои родственники?

Он пристально всматривался в него, словно

что-то припоминая.

— Мой двоюродный брат был расстрелян в Консепсьоне, — поспешно ответил священник.

— Не по моей вине.

— Я только хотел сказать, что мы похожи: наши отцы были близнецами. Они родились друг за дружкой. Наверное, вашему превосходительству показалось…

— Насколько я помню, он на тебя не был похож; высокий, худой… узкие плечи…

— Наверное, только родственники так считали… — быстро сказал священник.

— Впрочем, я ведь видел его только раз.

Казалось, какая-то мысль тревожила лейтенанта, когда он сидел задумчиво, постукивая смуглыми индейскими пальцами по страницам.

— Куда ты пойдешь?

— Бог знает.

— Все вы такие! Когда вы поймете, что ничего Бог не знает.

Какой-то маленький живой комочек, похожий на зернышко головни, бежал по странице перед ним; он раздавил его пальцем и сказал:

— У тебя не было денег на штраф? — И взглянул на еще одну букашку, суетящуюся среди листьев в поисках убежища. В этой жаре жизнь так и

кишела.

— Не было.

— На что собираешься жить?

— Поищу, наверное, какую-нибудь работу.

— Ты становишься слишком стар, чтобы найти работу. — Он вдруг сунул руку в карман и вытащил монету в пять песо. — Вот. — сказал он. — Убирайся, и чтобы я больше не видел твоей рожи. Запомни.

Священник зажал в кулак монету — стоимость заказной обедни. Он сказал изумленно:

— Вы хороший человек.

Глава IV

Было еще раннее утро, когда он переправился через реку и вышел, весь мокрый, на другой берег. Он рассчитывал кого-нибудь здесь встретить. Бунгало, сарай с жестяной кровлей, мачта для флага — он был убежден, что все англичане на закате спускают флаг с пением «Боже, храни короля». Он осторожно обогнул угол сарая, тронул дверь. Она легко поддалась. Он снова оказался в том темном помещении, где уже бывал. Сколько с тех пор прошло месяцев, он не имел представления. Только помнил, что тогда до сезона дождей

было еще далеко; теперь же он начинал входить в силу. Через неделю пересечь горы можно будет только на самолете.

Священник стал шарить ногой вокруг себя; он так проголодался, что даже несколько бананов были бы теперь лучше, чем ничего: он не ел два дня — но здесь не оставили ни единого. Видимо, он попал сюда в тот день, когда бананы уже сплавили по реке. Он стоял у двери, пытаясь вспомнить, что говорила ему девочка об азбуке Морзе, о ее окне. На той стороне мертвенно белого пыльного двора луч солнца высветил москитный полог. Внезапно он вспомнил о пустом складе. Он тревожно прислушался — кругом ни звука. День здесь еще не начинался. Не слышны первые сонные шарканья туфель по цементному полу. Собака еще не скреблась, как обычно, в дверь. Не стучала легкая рука. Ничего этого не было.

Который час? Давно ли рассвело? Определить было невозможно. Время тянулось бесконечно; оно так напряглось, что, казалось, вот-вот треснет. В конце концов, наверное, не очень рано — часов шесть-семь… Он понял, как рассчитывал на эту девочку. Она единственное существо, которое смогло бы ему помочь, не подвергая себя опасности. Если в ближайшие дни он не перебе-

рется через горы, он пропал. С таким же успехом можно было выдать себя полиции. Потому что как пережить сезон дождей, не имея никого, кто рискнул бы дать ему пищу и кров? Было бы лучше, быстрей, если бы его опознали в полиции неделю назад. Насколько это было бы проще. И вдруг он услышал звук; словно манящая надежда воскресла вновь: кто-то царапался и повизгивал. Здесь это означало наступление утра — звук жизни. Он жадно ждал, стоя в дверях.

И тут он увидел: через двор тащилась псина, жалкое существо с обвислыми ушами. Она волочила раненую или сломанную ногу и скулила. Что-то случилось и с ее хребтом. Двигалась она очень медленно. Можно было пересчитать все ее ребра, как у скелета в музее естествознания. Было ясно, что она давно ничего не ела: ее бросили.

В отличие от него у нее тлела какая-то надежда. Надежда — это инстинкт, только человеческий рассудок может убить ее. Животные никогда не отчаиваются. Наблюдая, как тащится раненая собака, он догадался, что она проделывает это ежедневно уже много дней, а может, и недель.

Он смотрел на один из привычных признаков наступающего утра, такой же, как пение птиц в более счастливых краях. Собака дотащилась

до двери веранды и начала скрестись одной лапой, странно распластавшись у порога. Нос ее приник к щели, казалось, она принюхивается к непривычному запаху пустых комнат; затем она нетерпеливо заскулила и вильнула хвостом, будто услышала внутри какое-то движение. Потом завыла.

Священник не мог больше этого вынести; он понял, что все это значит; теперь можно самому во всем удостовериться. Он вышел во двор. Животное неуклюже обернулось — пародия на сторожевого пса — и залаяло на него. Он был не тем, кто ей нужен. Ей требовалось то, к чему она привыкла, она хотела вернуть прошлое.

Священник заглянул в окно — наверное, это была комната девочки. Оттуда все вынесли, кроме поломанных и ненужных вещей. Остались картонная коробка, набитая рваной бумагой, и колченогий стульчик. В побеленной стене торчал огромный гвоздь — наверное, на нем висело зеркало или картина. На полу — сломанный рожок для обуви.

Собака, рыча, тащилась по веранде; инстинкт похож на чувство долга, его очень легко принять за верность. Священник избавился от собаки, отступив из тени дома на солнце; псина не могла

последовать за ним достаточно быстро. Потом он толкнул дверь, и она легко открылась — запереть ее никто не позаботился. На стене висела старая шкура аллигатора, неумело снятая и плохо высушенная. Он услышал позади сопение и обернулся: собака переступила двумя лапами через порог, но теперь, оказавшись в доме, он не обращал на нее внимания. Он был здесь хозяином, а ее занимали запахи, которые шли со всех сторон. Она тащилась по комнате, шумно принюхиваясь.

Священник открыл левую дверь — вероятно, это была спальня. В углу валялась куча старых пузырьков из-под лекарств. В некоторых осталось немного яркой жидкости на дне. Здесь были лекарства от головной боли, от расстройства желудка, лекарства, которые принимают до и после еды. Должно быть, кто-то был очень болен, раз понадобилось столько лекарств. Здесь лежал сломанный гребень и катышек счесанных волос, очень светлых и побелевших от пыли. «Тут жила ее мать, больше некому», — с облегчением подумал он.

Он прошел в другую комнату, окно которой с москитной сеткой выходило на пустынную, медленно текущую реку. Это была гостиная: хозяева оставили тут складной фанерный столик для

игры в карты, купленный за несколько шиллингов; его не стоило брать с собой, куда бы люди ни отправлялись.

Может быть, мать ее умирала, размышлял он. Наверное, убрали свой урожай и уехали в столицу, где есть больница. Он прошел в следующую комнату — это была та самая, что он видел со двора, комната девочки. С печальным любопытством он вытряхнул рваные бумаги из картонной коробки. У него было чувство, словно он делает уборку в доме покойника и решает, что было бы слишком больно сохранить.

«Непосредственным поводом Американской войны за независимость послужило так называемое „Бостонское чаепитие“, — прочел он. По-видимому, это была часть сочинения, старательно написанного большими четкими буквами. — Но настоящей причиной… (слово было написано с ошибками, зачеркнуто и переписано) было: правильно ли облагать налогом тех, кто не имел представителей в Парламенте». Очевидно, это черновик — слишком много в нем было помарок. Он вытащил наугад другой клочок бумаги — там речь шла о людях, называвшихся «виги» и «тори» — слова были ему незнакомы. Что-то вроде пыльной тряпки плюхнулось с крыши во двор

— это был гриф. «Если пять человек, — читал он, — выкашивают за три дня луг в четыре и пять четвертей акра, то сколько выкосят два человека за один день?» Под вопросом была проведена аккуратная черта и шли ряды цифр, безнадежно запутанных, так как ответа не выходило. Скомканная выброшенная бумага говорила о жаре и раздражении. Он очень ясно представил себе, как девочка решительно разделывается с задачей: ее четкое лицо с двумя заколотыми косичками. Он вспомнил, с какой готовностью она поклялась вечно ненавидеть любого, кто причинит ему зло. И вспомнил, как его собственная дочь заигрывала с ним, сидя на свалке. Он плотно закрыл за собой дверь, словно боялся, что кто-то убежит. Он слышал, как где-то заворчала собака, и, пройдя туда, оказался в комнате, которая прежде служила кухней. Псина лежала полуживая и скалила свои притупившиеся зубы над костью. Через москитную сетку в окно смотрело лицо индейца, словно его повесили сушиться на солнце — темное, морщинистое, отталкивающее. Индеец уставился на кость, как будто хотел отнять ее. При виде священника лицо сразу исчезло, будто его и не было, оставив священника одного в пустом доме. Священник тоже уставился на кость.

На ней еще оставалось порядочно мяса; рой мух вился в нескольких дюймах от носа собаки. И теперь, когда исчез индеец, она пристально смотрела на священника. И тот и другой были ее конкурентами. Священник сделал шаг-другой и дважды топнул.

«Пошла, пошла!» — сказал он, махая руками, но псина не шевелилась, распластавшись над костью, все сопротивление, какое осталось в ее больном теле, сосредоточилось в ее желтых глазах и оскаленных зубах. Это напоминало ненависть умирающего. Священник осторожно придвинулся; он еще не осознал, что животное не способно было прыгнуть — мы всегда представляем себе собаку подвижной, но это существо, как любой калека, было способно только думать. Можно было даже читать эти мысли — голод, надежду, ненависть, застывшие в зрачках.

Священник потянулся к кости, и мухи, жужжа, взлетели. Животное замерло, наблюдая. «Ну, ну!» — сказал он заискивающе; он сделал манящее движение пальцами в воздухе — животное следило за ним взглядом. Потом священник повернулся и притворился, что уходит, оставляя кость: он тихонько напевал слова из службы, старательно делая вид, что ему до кости нет де-

ла. Затем он быстро и резко обернулся. Тщетно. Собака внимательно следила за его хитрыми маневрами. На миг его охватил гнев — чего доброго, эта полумертвая сука завладеет единственной пищей. Он выругался простонародным выражением, подхваченным на митингах; в других обстоятельствах он бы удивился, как легко эти слова слетают у него с языка. Внезапно на него напал смех: вот оно величие человека — спорить с собакой из-за кости! Когда он засмеялся, псина прижала уши, и кончики их дернулись, словно она все понимала. Но он не чувствовал жалости — ее жизнь не имела никакой ценности в сравнении с человеческой. Он оглянулся, ища, чем бы бросить в собаку, но в комнате не было почти ничего, кроме кости. И, кто знает, может быть, она оставлена специально для этой собаки? Ему представилось, что девочка, уезжая с больной матерью и бестолковым отцом, позаботилась об этом; у него сложилось впечатление, что ей всегда приходилось думать за них. Для своей цели он не мог найти ничего лучшего, кроме сломанной овощной корзинки из проволоки.

Он снова надвинулся на собаку и слегка ударил ее по морде. Она лязгнула по корзинке своими старыми стертыми зубами, но с места не дви-

нулась. Он ударил сильнее, и она вцепилась в сетку, ему пришлось вырывать корзину. Он бил снова и снова, пока не понял, что собака вообще не может двигаться без крайних усилий. Она была не в состоянии ни избегать его ударов, ни оставить кость. Ей просто приходилось терпеть, и в промежутках между ударами он видел ее глаза, желтые, испуганные, горящие злобой.

Тогда он переменил тактику: использовал корзинку как своего рода намордник; ограждаясь ею от зубов, он быстро наклонился и завладел костью. Собака пыталась удержать ее лапой, но потом выпустила; он убрал корзинку и отпрянул — животное тщетно попыталось двинуться за ним, но потом рухнуло на пол. Священник выиграл сражение: кость была у него. Собака больше не пыталась рычать.

Он оторвал зубами клочок сырого мяса и стал жевать; никогда пища не казалась ему такой вкусной; и теперь, когда он на миг обрел счастье, в нем шевельнулась жалость. «Я съем вот столько, — подумал он, — а остальное отдам ей». Он мысленно наметил границу на кости и отгрыз еще. Тошнота, которую он ощущал уже несколько часов, стала проходить; осталось обычное чувство голода; он ел, а собака наблюдала за ним.

Сейчас, когда схватка кончилась, в ней уже не осталось злобы; хвост ее постукивал по полу, выражая надежду и вопрос. Священник доел до намеченного места, но теперь ему казалось, что его прежний голод был пустяком: настоящий голод он ощутил только сейчас; человеку нужно больше, чем собаке; он оставит ей клочок мяса на конце кости. Но когда наступил этот момент, он съел все — в конце концов, у собаки есть зубы: пусть глодает саму кость. Он бросил ее к собачьей морде и вышел из кухни.

Еще раз он обошел пустые комнаты. Ничто — ни сломанный рожок для обуви, ни пузырьки из-под лекарств, ни сочинения по истории Американской войны за независимость, — не объясняли ему, почему они уехали. Он вышел на веранду и через щель в половицах увидел книгу, упавшую на землю. Она лежала между грубо сложенными кирпичными столбиками фундамента, который поднимал дом над термитной тропой. Он уже многие месяцы не держал в руках книги. Книга плесневела здесь, между столбиками, словно обетование, что наступят лучшие времена, напоминание о том, что есть дома, где жизнь продолжается, где стоят радиоприемники, книжные полки, где кровати на день стелют, на

обеденный стол кладут скатерть. Он опустился на колени и достал книгу. Внезапно он понял, что в один прекрасный день, когда долгая борьба кончится и он пересечет в горах границу штата, то, в конце концов, жизнь, возможно, будет приносить радость.

Это была английская книга, но от лет, проведенных в американской семинарии, у него еще сохранилось достаточное знание языка, чтобы читать ее, хотя и с некоторым трудом. Даже если бы он не мог понять ни слова, все-таки это была книга. Называлась она «Драгоценности длиной в пять слов. Сокровищница английской поэзии». И на титуле — штемпель: «В награду — далее шло имя Корэл Феллоуз, вписанное чернилами, — за отличные сочинения по английскому языку. Третий класс». Там же был расплывшийся герб с грифоном, дубовыми листьями и латинским девизом «Virtus Landata Crescit»[30], и штампованная подпись — Генри Бекли, бакалавр искусств и директор частной фирмы «Домашнее обучение».

Священник сел на ступеньках веранды. Вокруг стояла тишина — жизнь покинула банановую плантацию, если не считать грифа, который

---

[30] Примечания: 30
Похвалой умножается добродетель *(лат.).*

еще не отказался от надежды. Никакого индейца, казалось, здесь не было и в помине. «После еды, — подумал священник с печальной усмешкой, — недурно почитать». Он открыл книгу наугад. Корэл — вот как звали ту девочку. Он подумал о магазинах в Веракрусе, где торговали хрупкими драгоценными безделушками, которые почему-то полагалось дарить девочкам после первого причастия. Он читал:

Я здесь оставил позади
Гнездовье цапли длинной,
Меж трав сверкаю по пути,
Чтоб прошуршать в долину...[31]

Стихотворение было очень туманным, полным слов, напоминавших эсперанто. «И это английская поэзия! — подумал он. — Как странно». В тех немногих стихах, которые он знал, говорилось главным образом о страданиях, раскаянии и надежде. Эти стихи кончались философской ноткой: «Приходят люди и уходят, а я вовеки остаюсь».[32]Банальное и фальшивое «вовеки»

---

[31] Примечания: 31
Строки из стихотворения А. Теннисона «Ручей» *(прим. ред.).*

[32] Примечания: 32
Строки из того же стихотворения *(прим. ред.).*

несколько удивило его. Такого рода стихи не должны попадать в детские руки. Через двор пролетел гриф — печальное, пыльное существо; время от времени он вяло поднимался с земли и плюхался ярдов через двадцать. Священник читал:

— Вернись, вернись,—
Сквозь рокот волн
С тоской кричал он в ночь
— Прощу шотландца твоего,
О дочь моя, о дочь![33]

Это произвело на него большее впечатление — хотя, вероятно, и такие стихи не подходили для детей. В словах чужого языка он ощутил голос подлинного страдания и повторил про себя, сидя на жаре в одиночестве, последние строки: «О дочь моя, о дочь!» Казалось, слова несли в себе все, что переживал он сам — раскаяние, тоску и несчастную любовь.

* * *

Странная вещь: с тех пор, как он провел ночь в

---

[33] Примечания: 33
Строки из баллады Т. Кемпбелла «Улин и его дочь» *(прим. ред.).*

душной переполненной до отказа камере, он попал в безлюдный мир, словно умер еще там, когда на его плече покоилась голова старика, и теперь он скитается в преддверии ада, потому что не был ни достаточно добрым, ни достаточно дурным… Жизнь больше не существовала; дело не только в банановой плантации. Сейчас, когда начиналась гроза и он спешил под укрытие, он наверняка знал, что не найдет здесь ничего, совсем ничего.

В неровных вспышках молнии возникали дрожащие хижины, а потом снова исчезали в грохочущем мраке. Однако дождь еще не начался; он несся с залива Кампече сплошной пеленой, методически покрывая весь штат, пядь за пядью. Священнику казалось, что он слышал этот мощный шум, катившийся к горам, которые были теперь так близко — всего миль двадцать.

Он подошел к крайней хижине; дверь была открыта, и при вспышках молнии он, как и ожидал, увидел, что там никого нет. Только куча маиса, в котором шевелилась неясная тень — вероятно, крыса. Он кинулся к другой хижине: там то же самое — маис и больше ничего; казалось, всякая человеческая жизнь исчезала при его приближении, словно Некто определил, что отныне он останется один, абсолютно один. Пока он так сто-

ял, дождь, наконец, достиг поляны; он показался из леса, словно густая белая пелена, и двинулся дальше. Это напоминало противника, который производил газовую атаку на всю территорию так, чтобы никто не спасся. Дождь захватывал пространство и задерживался там ровно столько, словно враг следил по секундомеру, зная с точностью до минуты предел выносливости легких. Крыша недолго выдерживала натиск дождя, и вскоре он прорвался через нее: прутья гнулись под тяжестью воды и расходились. Дождь проникал через дырки, низвергаясь черными потоками. Затем напор воды прекратился, с крыш капало, а ливень уходил дальше, и вспышки молний по его краям были подобны канонаде с флангов. Через несколько минут ливень достигнет гор; еще одна-две такие грозы, и дороги станут непроходимыми.

За день безостановочной ходьбы священник очень устал; он отыскал клочок сухой земли и сел. При вспышках молнии ему была видна поляна. Это напоминало перемирие, но не совсем. Для мира нужны люди, а его одиночество таило в себе угрозу чего-то надвигающегося. Ему вдруг почему-то вспомнился дождливый день в американской семинарии: окна библиотеки запотели

— работало центральное отопление, — высокие стеллажи с мирно стоящими книгами, и какой-то юноша из Таскона выводил пальцем на стекле свои инициалы. Вот это был мир! Он смотрел на все это со стороны и не мог поверить, что он когда-нибудь вернется. Свою нынешнюю жизнь он создал сам, и теперь она состояла из пустых, развалившихся хижин, удаляющейся грозы и нового приступа страха — он испугался, потому что он осознал, что он здесь не один.

Кто-то осторожно двигался снаружи. Вскоре шаги остановились. Он, замерев, ждал, а с потолка продолжало капать. Ему подумалось, что это метис рыщет вокруг города в поисках возможности выдать его — на сей раз наверняка. Из-за двери хижины на него глянуло лицо — и тут же исчезло; лицо принадлежало женщине, и скорее пожилой, но у индейца никогда не разберешь возраста, может, ей было и не больше двадцати. Он встал и вышел наружу — фигура в тяжелой мешковатой юбке бросилась бежать от него; взметнулись ее темные, тяжелые косы. Очевидно, его одиночеству суждено нарушаться только этими ускользающими лицами — существами, которые словно явились из каменного века и мгновенно уходили обратно.

Его охватило что-то вроде мрачного раздражения — уж ей-то не следовало убегать. Он кинулся за ней через поляну, шлепая по лужам, но она испугалась и растворилась в лесу у него на глазах. Искать ее там не имело смысла, и он повернул к ближайшей хижине. Это была не та хижина, в которой он укрывался прежде, но она тоже была пуста. Что же стряслось с этими людьми? Он прекрасно знал, что их более или менее первобытные поселения были лишь временными; индейцы обрабатывают клочок земли, а когда почва истощается, они просто уходят; у них нет представления о севообороте; однако, маис, уходя, они всегда забирали с собой. Больше всего это походило на бегство — от врага или болезни. Он слышал о таких бегствах во время эпидемии. Самым ужасным было то, что они разносили болезнь всюду, где появлялись. Порой в панике они становились похожими на мух, бьющихся в стекло, тайком, втихомолку, никому не давая о себе знать. Он уныло вернулся, стал смотреть на поляну и увидел, что женщина пробирается к хижине, где он укрылся. Он позвал ее строгим голосом, и она снова, спотыкаясь, бросилась к лесу. Ее неуклюжий бег напоминал ему птицу, которая притворяется, будто у нее перебито крыло… Он

двинулся за ней, и она, не добежав до деревьев, остановилась и взглянула на него. Он медленно направился к другой хижине, оглянулся — она следовала на расстоянии, пристально следя за ним. Снова она напомнила ему то ли настороженного зверя, то ли напуганную птицу. Он шел прямо к хижине. Где-то вдали блеснула молния. Но гром еле слышался. Небо очищалось, и проглянула луна. Внезапно до него донесся странный, неестественный крик, и, оглянувшись, он увидел, что женщина поворачивает к лесу; потом она споткнулась, всплеснув руками, и опустилась на землю, как птица, которая приносит себя в жертву за птенцов.

Теперь он был уверен, что в хижине было что-то для нее ценное, наверное, спрятанное среди маиса; и, не обращая на женщину внимания, он вошел внутрь. Сейчас, когда прекратились вспышки молний, он не мог ничего разглядеть. Он шарил под ногами, пока не коснулся связки маиса. Снаружи приближались осторожные шаги. Он начал щупать: возможно, тут была спрятана еда. Сухой шелест листьев, капающая вода и осторожные шаги — все это напоминало тихие звуки домашней работы. И тут его рука нащупала лицо.

Теперь его не могло это испугать — под пальцами находилось человеческое существо. Он ощупал тело. Это был ребенок, лежавший совершенно неподвижно под его руками. На пороге при свете луны неясно обрисовывалось лицо женщины; страх, по-видимому, парализовал ее, хотя точно понять это было невозможно. «Я должен вынести его наружу, — подумал он, — надо посмотреть…»

Это был мальчик лет трех: удлиненная головка с копной черных волос бессильно свисала; он был без сознания, но еще жив. Священник чувствовал едва заметное дыхание. Он подумал, что ребенок болен, потом поднял руку и увидел, что тот был не в поту, а в крови. Ужас и отвращение охватили его — всюду насилие; будет ли этому конец?

— Что произошло? — резко спросил он женщину.

Казалось, что во всем этом штате одни люди полностью зависели от произвола других.

Женщина опустилась на колени в двух-трех шагах, следя за его руками. Она немного знала по-испански, потому что ответила:

— Американо.

На ребенке было что-то вроде коричневой цельнотканой рубахи. Священник закатал ее до шеи:

в трех местах были огнестрельные раны. Жизнь уходила из него с каждой минутой. В сущности, ничего уже нельзя было поделать. Но нужно было попробовать…

— Воды, — сказал он женщине. — Воды.

Она, видимо, не понимала и, сидя на корточках, смотрела на священника. Конечно, легко ошибиться, думая, что, раз ее глаза ничего не выражают, значит, она не испытывает горя. Когда священник касался ребенка, он видел, как она дергается. Она готова была вцепиться в него зубами, если бы ребенок хотя бы застонал.

Он начал говорить медленно и мягко; насколько она его понимает, было неясно.

— Нам нужна вода. Чтобы омыть его. Ты меня не бойся. Я ему вреда не причиню.

Он снял с себя рубаху и начал рвать ее на полосы — это было против всех правил гигиены, но что оставалось делать? Только молиться, конечно, но как молиться об этой жизни? Он снова повторил:

— Воды!

Женщина, казалось, поняла — она в отчаянии оглянулась: дождь везде оставил лужи — это была единственная вода. «Ладно, — подумал он. — Земля так же чиста, как любой сосуд». Он

намочил лоскут от своей рубахи и наклонился к ребенку; он мог слышать, как женщина подобралась ближе, и это движение было полно угрозы. Он снова попытался ее успокоить:

— Не бойся меня. Я священник.

Слово «священник» она поняла, потянулась к нему, схватила руку, державшую мокрый обрывок рубахи, и поцеловала ее. В тот самый миг, когда ее губы коснулись его руки, ребенок сморщился, глаза его открылись и уставились на них; крошечное тельце сотрясалось от дикой боли; они видели, как глазные яблоки закатились и вдруг застыли, будто мраморные шарики для игры — пожелтевшие и обезображенные смертью. Женщина отпустила его руку, подползла к луже и зачерпнула воду ладонью.

— Вода нам больше не нужна, — сказал он и поднялся, держа в руках мокрую рубаху.

Женщина раздвинула пальцы, и вода вылилась на пол.

— Отец! — сказала она умоляюще.

Он устало опустился на колени и начал молиться.

Он больше не верил, что такие молитвы имеют смысл. Причастие — другое дело, вложить его в уста умирающего означало вложить Бога. То

было чем-то реальным, осязаемым, а это — лишь благочестивыми речами. Почему Кто-то должен услышать *его* молитвы? Грех препятствовал тому, чтобы эти молитвы возносились к небу; он чувствовал, что они тяготят его, как непереваренная пища.

Кончив, он поднял тело ребенка и понес его назад в хижину, словно вещь, выносить которую оказалось ненужной тратой времени, — так выносят в сад стул, а затем вносят обратно, потому что трава мокрая. Женщина покорно следовала за ним. По-видимому, она не хотела прикасаться к телу и просто смотрела, как священник снова положил его в темноте на маис. Он сел на землю и сказал:

— Его надо похоронить.

Она поняла и кивнула.

— Где твой муж? Он тебе поможет? — спросил он.

Она быстро заговорила — вероятно, на языке камачо, он не мог ничего понять, кроме отдельных испанских слов. Вновь и вновь звучало слово «американо», и он вспомнил объявление о человеке, чья фотография была приколота к стене рядом с его собственной.

— Это он сделал? — спросил священник.

Она покачала головой. Что же могло произойти? — думал он. — Может быть, этот человек прятался здесь, и солдаты открыли огонь по хижинам? Не исключено. Внезапно он насторожился. Женщина произнесла название банановой плантации — но там никто не погибал, не было и признаков насилия, разве что безмолвие и запустение… Предположим, мать девочки была больна, но могло случиться и нечто худшее, и он представил себе, как этот глупец — капитан Феллоуз снимает ружье со стены и идет с этим жалким оружием на человека, чей главный талант — нападать из-за угла или стрелять без промаха через карман. Та бедная девочка… какую ответственность ей, наверное, пришлось взять на себя.

Он отогнал от себя эти мысли и спросил:

— У тебя есть лопата?

Она не поняла, и он стал жестами изображать, что копает.

Тем временем раздался раскат грома: приближалась новая полоса грозы, — точно враг обнаружил, что после первой атаки кое-кто уцелел, и теперь намерен истребить оставшихся в живых. Священник снова услышал тяжелое дыхание ливня в нескольких милях от них; до

него дошло, что женщина повторяет: «церковь». Ее испанский язык состоял из отдельных слов. Он не мог понять, что она имеет в виду. И тут дождь накрыл их. Он сплошной стеной встал между ними и всеми путями бегства, он падал сплошной массой воды, строя вокруг них ограду. Наступивший мрак прорывали только вспышки молнии.

Крыша не могла выдержать такого ливня: он просачивался повсюду; сухие листья маиса, среди которых лежал мертвый ребенок, трещали, словно поленья в костре. Священник дрожал от холода; он наверное был на грани лихорадки — нужно уходить, пока он еще в силах двигаться. Женщина (теперь он уже не мог различить ее лица в темноте) снова умоляюще сказала:

— Iglesia[34].

Он понял, что она хочет, чтобы ребенок был похоронен около церкви или хотя бы положен у алтаря так, чтобы его могли коснуться ноги Христа. Это была фантастическая идея.

Он воспользовался затяжной дрожащей вспышкой голубого света, чтобы жестами изобразить, что это невозможно.

— Солдаты, — говорил он, и она сразу отве-

---

[34] Примечания: 34
Церковь *(исп.)*.

тила:

— Американо!

Снова и снова повторялось это слово; казалось, у него много значений, в зависимости от того, каким тоном оно произносится: оно могло означать пояснение, предостережение или угрозу. По-видимому, она хотела сказать, что все солдаты заняты погоней, но, пусть даже так, этот ливень отрезал все возможности. До границы осталось двадцать миль, и после дождя горные тропы станут, скорее всего, непроходимыми. Что же касается церкви, то он не имел ни малейшего понятия, где ее искать. Уже много лет он не видел никаких церквей; трудно поверить, что они все еще существуют в каких-нибудь нескольких днях пути. Когда снова сверкнула молния, он увидел, что женщина смотрит на него с каменным терпением.

* * *

За последние тридцать часов они ели только сахар — большой коричневый кусок величиной с детскую голову. Они никого не встретили и не обменялись ни словом. Какой был в этом смысл, если оба понимали только «Iglesia» и «американо». Женщина шла за ним по пятам с мертвым

ребенком, привязанным к спине. Казалось, ей не ведома усталость. Через сутки они вышли из заболоченной равнины к подножию холмов, переночевали на высоком берегу зеленой медленной реки под защитой выступающей скалы, там был единственный сухой клочок земли, а кругом — непролазная грязь. Женщина сидела, обхватив колени руками, ее голова опустилась — никаких чувств она не проявляла. Но ребенка она положила позади себя, словно его тело нуждалось в защите от грабителей, как другие пожитки. Они шли, ориентируясь по солнцу, пока темная лесистая полоса гор не указала им, куда идти дальше. Быть может, лишь они одни были живыми в этом вымирающем мире — и они несли с собой видимый знак смерти.

Порой священник спрашивал себя, не находятся ли они уже в безопасности. Однако, поскольку нет ясной границы между штатами, нет проверки паспортов или таможни, кажется, что опасность настигает их, следуя за ними тяжелыми шагами. Казалось, что они слишком медленно продвигаются вперед; тропинка то круто поднималась вверх футов до пятисот, то снова спускалась вниз и утопала в грязи. Один раз тропа сделала длинную петлю, и они оказались ярдах в ста от того

места, откуда ушли три часа назад.

К закату второго дня они вышли на широкое плоскогорье, покрытое низкой травой; на фоне неба чернел лес крестов, покосившихся в разные стороны — некоторые были футов в двадцать высотой, другие — не больше восьми. Они напоминали деревья, оставленные на развод. Священник остановился и взглянул на них: это были первые увиденные им за пять лет христианские символы, открыто выставленные перед людьми, если только это пустынное плоскогорье посещали люди. Никакой священник не мог иметь отношения к этим старым грубым крестам: это было делом индейцев и не имело ничего общего с красивыми церковными облачениями и тщательно разработанной богослужебной символикой. Это был краткий прорыв в темную магическую сердцевину веры, — в ночь, когда отверзаются могилы и бродят мертвецы. Почувствовав за спиной движение, он оглянулся.

Женщина опустилась на колени и медленно поползла по жесткой земле к крестам; мертвый младенец мотался у нее за спиной. Достигнув самого высокого креста, она сняла ребенка и приложила к дереву, сначала лицом, потом спиной; затем она перекрестилась, но не так, как принято

у католиков, а странным и сложным крестным знамением, осеняя нос и уши. Быть может, она надеется на чудо, думал священник. Но если так, почему оно ей не дается? Вера, сказано, может передвигать горы, а она верила — и в брение, исцелившее слепого, и в голос, пробудивший мертвого. Взошла вечерняя звезда; она висела низко, над самым краем плоскогорья, и казалось, до нее можно дотянуться рукой. Подул теплый ветерок. Священник поймал себя на том, что следит, не зашевелится ли ребенок. Но когда ничего не произошло, у него появилось чувство, что Бог упустил возможность. Женщина села, достала из узла кусок сахара и стала есть, а младенец мирно лежал у подножия креста. В конце концов почему мы должны ожидать, что Бог накажет этого невинного продолжением жизни?

— Vamos[35], — сказал священник. Но женщина грызла сахар своими острыми зубами, не обращая на него внимания. Он взглянул на небо и увидел, что вечерняя звезда заволоклась темными облаками. Укрыться на этом плоскогорье было негде.

Женщина не шевелилась. Усталое лицо с вздернутым сломанным носом, обрамленное черными

---

[35] Примечания: 35
Пойдем *(исп.)*.

косами, было совершенно бесстрастно, казалось, она исполнила свой долг и теперь могла предаться вечному покою. Внезапно священник вздрогнул. Боль, которая, словно жесткий обруч, сдавливала его голову весь день, вонзилась еще глубже, в мозг. Он подумал: мне надо найти убежище. Даже Церковь в каком-то смысле учит, что у человека есть долг перед самим собой. Все небо затянулось тучами. Кресты торчали, как сухие уродливые кактусы. Он двинулся к краю плоскогорья. Прежде чем начать спуск, он оглянулся. Женщина все еще грызла кусок сахара, и он вспомнил, что это была их единственная еда.

Спуск оказался очень крутым, таким крутым, что ему приходилось двигаться лицом к склону. По другую сторону перпендикулярно серой скале росли деревья. И ниже, футов через пятьсот, тропа снова шла вверх. Он покрылся испариной и страшно хотел пить; когда пошел дождь, стало немного легче. Он остановился и прижался спиной к валуну. Укрыться негде, пока он не достигнет дна лощины; едва ли есть смысл делать это усилие. Теперь его знобило почти непрерывно, а боль ослабла и стала чем-то внешним, как бы вещественным, как звук, мысль, запах. Все чувства перемешались в нем. На миг боль

стала похожа на надоедливый голос, объясняющий ему, что он заблудился; он вспомнил карту двух соседних штатов, которую когда-то видел. Штат, откуда он бежал, был усеян деревнями — в жаркой заболоченной местности люди размножались быстро, как москиты; но в соседнем, на его северо-западной оконечности, было пустое белое пятно. Боль говорила ему, что он находится как раз в этом районе. Но ведь есть тропа, устало возражал он. Ах, тропа? — отвечала боль, тропа может тянуться еще пятьдесят миль, пока куда-нибудь приведет, а ты ведь знаешь, что тебе это расстояние не одолеть. Кругом только белое пятно.

Потом боль превратилась в лицо. Он был уверен, что за ним следит американец — его физиономия состояла из точек, как на газетной фотографии. Наверное, он преследовал их, потому что хотел убить мать, раз убил ребенка, — так у него проявлялась сентиментальность. Надо было что-то предпринять; дождь казался завесой, за которой может случиться все что угодно. «Я не должен был оставлять ее одну, — подумал священник. — Да простит мне Бог, что с меня возьмешь: чего еще ждать от запойного попа-пропойцы?» И он, сделав усилие, встал и начал

карабкаться назад, к плоскогорью. Его мучили мысли: дело было не только в женщине, он чувствовал ответственность и за американца: два лица — его собственное и убийцы — висели рядом в полицейском участке, словно фотографии братьев в семейной портретной галерее. Нельзя служить искушением на пути брата.

Дрожа, весь в поту, насквозь промокший, он выбрался на обрыв. Там никого не было — лишь мертвый ребенок лежал у подножия креста, словно ненужная забытая вещь; мать ушла домой. Она исполнила то, что хотела. Странным образом удивление на время избавило его от озноба. Маленький кусок сахара — все, что осталось, — лежал у губ ребенка, то ли на случай чуда, то ли как пища духу умершего. Священник нагнулся и со смутным чувством стыда взял сахар: мертвый ребенок не мог зарычать на него, как раненая собака; но кто он такой, чтобы не верить чудесам? Он колебался, а дождь меж тем все лил; наконец, он положил сахар в рот. Если Богу угодно вернуть жизнь младенцу, разве Он не сможет и накормить его?

Едва он начал есть, как к нему снова вернулся озноб; сахар застрял в горле; он чувствовал невыносимую жажду. Присев на корточки, он

попытался слизать немного воды с шероховатой почвы и даже сосал свои мокрые брюки. Ребенок лежал под потоками дождя, словно темная лепешка коровьего навоза. Священник снова пошел к краю плоскогорья и спустился к расщелине — теперь он осознал свое одиночество — даже то лицо исчезло, он шел по белому пятну, с каждым шагом углубляясь в пустынную местность. Где-то, не важно где, были, конечно, города; если пройти достаточно далеко, придешь к побережью Тихого океана, к железнодорожному пути на Гватемалу: там есть дороги, автомобили; уже десять лет он не видел поезда. Он представил себе черную линию, протянувшуюся вдоль побережья, на карте, и видел пятьдесят, сто миль неведомой страны. Вот где он находился. Он слишком далеко убежал от людей, теперь его убьет природа.

И все-таки он шел вперед: назад, к опустелой деревне и банановой плантации с умирающей собакой и рожком для обуви, пути не было. Не оставалось ничего иного, как делать один шаг вперед, потом другой, карабкаться вверх, сползать вниз. Когда дождь прошел, с вершины обрыва ничего не было видно, кроме огромного пересеченного пространства лесов и гор и серой влажной пелены, двигавшейся над ними. Свя-

щенник глянул только раз и больше не смотрел. Это то же самое, что глянуть в лицо отчаянию.

Прошло, должно быть, несколько часов, прежде чем он перестал взбираться вверх. Был вечер и лес: среди деревьев верещали невидимые глазу обезьяны, нахальные и неугомонные, а в траве что-то шипело, словно чиркали спичкой — наверное, змеи. Он не боялся их: ведь это была жизнь, а от него жизнь ускользала. Уходили прочь не только люди, но даже звери и пресмыкающиеся; скоро он останется совсем один, наедине с собственным дыханием. «Боже, я возлюбил красоту дома Твоего», — шептал он про себя и вдыхал запах влажных гниющих листьев, жаркой ночи и темноты; ему казалось, что он в шахте спускается под землю, погребая сам себя. Скоро он обретет свою могилу.

Он никак не прореагировал, когда к нему направился человек с ружьем. Тот приближался осторожно: мало ли кого можно встретить в этой преисподней?

— Кто вы? — спросил человек, подняв ружье.

Священник назвал незнакомцу свое имя — он это сделал впервые за десять лет. Потому что он устал и ему казалось бесцельным продолжать жить.

— Священник? — изумился человек. — Откуда вы взялись?

Его опять лихорадило: реальность с трудом проникала в его сознание. Он сказал:

— Все в порядке. Я не причиню вам неприятностей. Я ухожу.

Собрав остатки сил, он зашагал прочь; удивленное лицо мужчины на миг пробилось в его лихорадочное сознание и растаяло.

— Заложников больше не будет, — вслух заверил он сам себя.

Шаги следовали за ним, словно провожали опасного человека, которого следует выдворить из своих владений, прежде чем вернуться домой. Он снова повторил вслух:

— Все в порядке. Я здесь не останусь. Мне ничего не надо.

— Отец... — Голос был почтительный и встревоженный.

— Уже ухожу.

Он пытался бежать, но внезапно вышел из леса на пологий склон, проросший травой. Там, внизу, были огни и хижины, а на опушке большое белое здание — барак? казарма? тут солдаты? Он сказал:

— Если меня уже заметили, я сам выдам себя.

Обещаю, из-за меня никто не пострадает.

— Отец!..

Голова раскалывалась от боли; он покачнулся и оперся о стену, чтобы не упасть. Он чувствовал себя безмерно усталым.

— Это казарма? — спросил он.

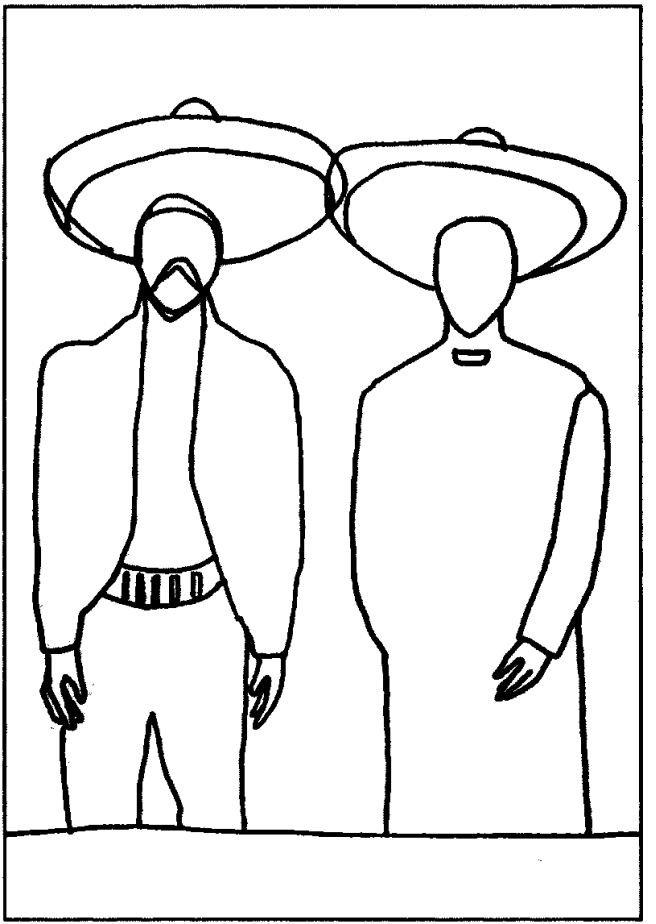
— Отец! — произнес голос удивленно и озабоченно. — Это наша церковь.

— Церковь? — священник недоверчиво ощупал руками стену, как слепой, пытающийся понять, что за дом перед ним. Но он был слишком измучен, чтобы испытывать какие-либо чувства. Он слышал, как где-то бормотал человек с ружьем:

— Какая честь, отец. Нужно позвонить в колокола…

Вдруг священник сел на мокрую от дождя траву, прислонил голову к белой стене и заснул, ощущая спиной родной дом. Сны его были наполнены хаосом радостных звуков.

Часть третья



Глава I

Женщина средних лет сидела на веранде, штопая носки; она была в пенсне и, чтобы чувствовать себя свободной, сняла туфли. Мистер Лер, ее брат, читал нью-йоркский журнал — он был трехнедельной давности, но это не имело значения. Все дышало миром и покоем.

— Если хотите, налейте себе воды, — сказала мисс Лер.

Большой глиняный кувшин стоял в прохладном углу, рядом с ковшом и кружкой.

— Вы не кипятите воду? — спросил священник.

— Нет, *наша* вода свежая и чистая, — ответила мисс Лер с важностью, словно за другую воду ответственности она не несла.

— Лучшая вода в штате, — сказал ее брат.

Глянцевые страницы журнала шуршали, когда он их листал. На них мелькали фотографии больших, чисто выбритых бульдожьих челюстей — сенаторов и конгрессменов. За оградой сада к ближайшей гряде гор тянулись холмистые пастбища, а у ворот цвело и роняло увядшие лепестки тюльпанное дерево.

— Вы стали лучше выглядеть, отец, — сказала мисс Лер.

Они с братом говорили по-английски гортанно, с легким американским акцентом. Мистер Лер покинул Германию в юности, желая избежать службы в армии: у него было твердо очерченное лицо идеалиста. В этой стране приходилось быть очень твердым, чтобы сохранить хоть какие-то идеалы, и он изрядно поднаторел в защите правильного образа жизни.

— О, ему достаточно было отдохнуть всего несколько дней, — сказал мистер Лер. Он ни о чем не расспрашивал этого человека, которого старший рабочий привез в бессознательном состоянии на муле три дня назад. Он знал лишь то, что рассказал ему сам священник; в здешних краях он научился не задавать вопросов и не заглядывать в будущее.

— Итак, я могу двигаться дальше? — сказал священник.

— Вам нет необходимости спешить, — заметила мисс Лер, выворачивая носок, чтобы отыскать дырку.

— Здесь так спокойно.

— Ну, положим, — сказал мистер Лер, — и у нас бывают свои неприятности. — Он перевернул

страницу и добавил: — Этот сенатор, Хайрэм Лонг, за ним нужен глаз да глаз. Когда оскорбляют другие страны, это к добру не приводит.

— А у вас не пытались отобрать землю?

Лицо идеалиста повернулось к нему; оно несло печать невинного лукавства.

— О! Я дал столько, сколько они потребовали — пятьсот акров бесплодной земли. Сэкономил на налогах. Мне там никогда не удавалось ничего вырастить. — Он кивнул в сторону столбов веранды. — Вот когда были последние *настоящие* неприятности! Видите следы пуль? Это были люди Панча Вильи.

Священник снова встал и выпил еще воды. Жажды у него не было, просто он наслаждался этой роскошью.

— За какое время я доберусь до Лас-Касаса? — спросил он.

— Дня за четыре, — ответил мистер Лер.

— Нет, в *таком* состоянии, — добавила мисс Лер, — дней за шесть.

— Это будет так странно! — сказал священник. — Город с церквами, университетом…

— Разумеется, — сказал мистер Лер. — Но мы с сестрой лютеране. Мы не придерживаемся взглядов вашей Церкви, отец. По-моему, в ней много

роскоши, а между тем народ голодает.

— Но, дорогой, уж отец-то в этом не виновен, — сказала мисс Лер.

— Роскоши? — спросил священник. Он стоял у глиняного кувшина, держа в руках кружку, и пытался собраться с мыслями, глядя на мирные, поросшие травой склоны. — Вы имеете в виду… — Быть может, мистер Лер был прав: прежде он жил слишком легко, вот и здесь уже снова привыкает к праздности.

— Я имею в виду всю эту позолоту в храмах, — сказал мистер Лер.

— Чаще всего это просто краска, — примирительно пробормотал священник. Он думал: да, вот уже три дня я ничего не делаю, ничего.

Он взглянул на свои ноги, обутые в изящные туфли мистера Лера, и на просторные брюки, взятые у него.

— Он не обидится, если я говорю то, что думаю, ведь мы здесь все христиане, — говорил мистер Лер.

— Разумеется, я рад слышать.

— Мне кажется, вы придаете излишнее значение второстепенному.

— Да? Что вы имеете в виду?

— Посты… рыба в пятницу…

Он вспомнил нечто подобное из времен своего детства, вспомнил, что было время, когда он придерживался этих правил…

— Мистер Лер, в конце концов, вы — немец, принадлежите к великой военной нации…

— Я никогда не был солдатом. Я не одобряю…

— Да, понятно, но все же вы понимаете: дисциплина необходима. На фронте учения уже не нужны, но они формируют характер. Без них получаются люди… вроде меня.

Он с внезапной ненавистью взглянул на свои туфли: они были точно клеймо дезертирства.

— Люди вроде меня! — повторил он гневно.

Наступило некоторое замешательство. Мисс Лер начала было:

— Почему, отец?.. — но мистер Лер прервал ее, отложил журнал, наполненный гладко выбритыми политиканами, и сказал своим гортанным немецко-американским говорком:

— Я полагаю, что сейчас самое время искупаться. Пойдемте, отец?

Священник покорно последовал за ним в их общую спальню. Он снял костюм мистера Лера, надел его плащ и босиком пошел за ним через веранду в поле. Накануне он опасливо спросил «Нет ли тут змей?», а мистер Лер презрительно

проворчал, что если бы они тут и были, то очень скоро отсюда убрались бы. Он и его сестра дружно вытесняли всякую дикость тем, что просто-напросто игнорировали все, противоречащее их традиционному немецко-американскому образу жизни. В своем роде это был превосходный способ существования.

В конце поля по бурым камням тек мелкий ручей. Лер скинул халат и растянулся в воде; было что-то честное и идеалистическое даже в его немолодых тощих ногах с сухими мускулами. Маленькие рыбки беспрепятственно играли у него над грудью и пощипывали ее; это была мумия того юноши, который до такой степени осуждал милитаризм, что предпочел эмигрировать. Вскоре он сел и начал осторожно намыливать свои худощавые бедра. Священник тоже взял мыло и последовал его примеру. Он знал, что так нужно, хотя не мог избавиться от мысли, что это пустая трата времени. Пот очищает так же хорошо, как вода. Но эта нация относится к опрятности, как к своего рода благочестию — именно к опрятности, а не к чистоте.

И при всем том он чувствовал необыкновенное наслаждение, лежа здесь, в холодном ручейке, при заходе солнца… Ему вспомнилась камера, где

сидели старик и набожная дама, метис на пороге хижины, мертвый ребенок и покинутая плантация. Он со стыдом подумал об осведомленности и невежестве своей дочери, которую оставил у свалки. У него не было права на эту роскошь.

— Вам больше не нужно мыло? — спросил мистер Лер. Он намылил лицо и теперь принялся за спину.

— Думаю, я должен предупредить вас: завтра я служу обедню в деревне, — сказал священник. — Быть может, мне лучше покинуть ваш дом? Я не хочу причинять вам неприятности.

Мистер Лер плескался, поглощенный мытьем.

— О, меня они не тронут! Но вам лучше быть осторожней. Ведь вы знаете, что это противозаконно!

— Знаю, — сказал священник.

— Я знал священника, которого оштрафовали на четыреста песо. Он не мог заплатить, и они упекли его в тюрьму на неделю. Чему вы улыбаетесь?

— Тому, что здесь… так спокойно. Посадить на неделю!

— Я слышал, у вас предпочитают отсидеть, чем платить. Хотите еще мыло?

— Нет, спасибо, я кончил.

— Тогда нам лучше обтереться. Мисс Лер любит купаться до захода солнца.

Когда они гуськом возвращались в бунгало, им встретилась мисс Лер, казавшаяся очень грузной в своем халате. Точно звук часов с мелодическим боем, прозвучал ее механический вопрос:

— Вода сегодня хорошая?

А ее брат отвечал, как, должно быть, отвечал тысячу раз:

— В меру прохладная, дорогая.

И она прошлепала по траве в комнатных туфлях, слегка сгибаясь из-за близорукости.

— Если не возражаете, — сказал мистер Лер, закрывая дверь спальни, — побудьте здесь, пока не вернется мисс Лер. Дело в том, что ручей отсюда виден.

Он стал одеваться — высокий, тощий, немного окостеневший. Две металлические кровати, один стул, шкаф — комната напоминала монашескую келью: в ней не было только распятия, предмета, который мистер Лер относил к разряду «вещей второстепенных». Но Библия здесь была. Она лежала на полу у одной из кроватей — книга в черном клеенчатом переплете. Когда священник кончил одеваться, он открыл ее.

На первом листе наклейка свидетельствовала,

что книга доставлена Гидеоновским обществом[36]. Надпись гласила: «Библию в каждый номер гостиницы. Завоевать коммерсантов для Христа. Благая весть». Затем шел перечень текстов. Священник прочел их с некоторым удивлением:

«Если у вас неприятности, читайте Псалом 34.

Если дело идет плохо — Псалом 37.

Если торговля процветает — 1 Коринфянам, 10,2.

Если вас одолели сомнения или неверие — Иакова I. Осии, 14, 4–9.

Если измучены грехом — Псалом 50, Лука 18. 9-14.

Если вы желаете мира, силы и изобилия — Иоанна, 14.

Если вы одиноки и унываете — Псалом 23 и 27.

Если вы потеряли доверие к людям — I Коринфянам, 13.

Если вы хотите мирно уснуть — Псалом 121».

Священник задумался: как эта книга, так плохо напечатанная, с такими наивными пояснениями попала сюда, на ферму, в южную Мексику?

Мистер Лер отошел от зеркала, держа в руке

---

[36] Примечания: 36

Одно из обществ по распространению Библии *(прим. перев.).*

большую густую щетку для волос, и пояснил:

— Когда-то моя сестра содержала отель. Для коммивояжеров. Когда умерла моя жена, она продала отель, приехала ко мне и привезла оттуда одну из Библий. Вам этого не понять, отец. Вам не нравится, когда люди читают Библию[37].

Мистер Лер все время защищал свою веру, словно постоянно чувствовал неудобство, как если бы ему жали туфли.

— А ваша жена здесь похоронена?

— На лугу, — отрывисто сказал Лер. Он стоял со щеткой в руках, прислушиваясь к тихим шагам снаружи. — Это возвращается мисс Лер после купания. Теперь мы можем выйти.

* * *

Добравшись до церкви, священник слез со старой лошадки мистера Лера и намотал поводья на куст. Это было его первое посещение деревни после той ночи, когда он потерял сознание у стены. Деревня лежала перед ним погруженная во мрак: крытые железом бунгало и глинобитные хижины тянулись по обеим сторонам единственной

[37] Примечания: 37

Вплоть до недавнего времени католикам не рекомендовалось читать Библию без церковных комментариев *(прим. перев.).*

заросшей травой улицы. Кое-где горели лампы, а в самых бедных хижинах по кругу разжигали огонь. Священник шел медленно, с чувством покоя и безопасности. Первый же человек, попавшийся навстречу, снял шляпу, опустился на колено и поцеловал руку священника.

— Как тебя зовут?

— Педро, отец.

— Доброй ночи, Педро.

— Отец, будет утром служба?

— Будет.

Он прошел мимо сельской школы. На ступеньках сидел учитель — тучный молодой человек с темно-карими глазами в роговых очках. Когда он увидел приближающегося священника, он демонстративно отвернулся: перед ним был неблагонадежный элемент, и он не желал знаться с нарушителем закона. Он принялся педантично и самодовольно делать замечание кому-то, скрытому его спиной. Что-то насчет младшего класса. Какая-то женщина поцеловала руку священника; странно вновь быть желанным гостем, а не вестником смерти.

— Отец, вы примете наши исповеди? — спросила женщина.

— Да-да, в амбаре сеньора Лера. Перед служ-

бой, — ответил он. — Я буду там в пять. Как только рассветет.

— Но нас так много, отец…

— Тогда и сегодня вечером… в восемь.

— У нас много детей, отец, которых надо покрестить. Три года здесь не было священника.

— Я пробуду у вас еще два дня.

— Сколько вы будете брать с нас, отец?

— Как обычно, два песо. — Он подумал: я должен нанять двух мулов и проводника. Добраться до Лас-Касаса — обойдется мне в пятьдесят песо. Пять песо за обедню, нужно еще сорок пять.

— Мы здесь очень бедны, отец, у меня четверо детей, — осторожно торговалась она. — Восемь песо — большие деньги.

— Что-то многовато у тебя детей, если священник здесь был всего три года назад.

Он почувствовал, как к нему возвращаются прежние властные приходские интонации, словно последние годы были сном и он никогда не расставался с приходскими союзами, «Обществом Детей Девы Марии» и ежедневными службами.

— Сколько всего некрещеных детей? — строго спросил он.

— С сотню наберется, отец.

Он подсчитал в уме: значит, в Лас-Касас он

явится не нищим, он сможет купить приличный костюм, найти хорошую квартиру, устроиться…

— Ты можешь заплатить по полтора песо за каждого, — сказал он.

— Одно песо, отец! Мы так бедны.

— Полтора.

В его ушах зазвучал решительный голос из прошлого: «Они не ценят того, за что не платят, — так говорил старик священник, у которого он принял приход в Консепсьоне. — Они вечно твердят, что бедны, — объяснял старик, — что умирают с голоду, но где-нибудь в кувшине у них обязательно есть небольшой запас денег».

— Приходите с деньгами и детьми в амбар сеньора Лера завтра в два.

— Хорошо, отец.

Это, по-видимому, ее устраивало: она выторговала по пятьдесят сентаво с головы.

Священник двинулся дальше. Скажем, сто детей, — думал он, — это значит, вместе с завтрашней службой — это будет сто шестьдесят песо. Быть может, мне удастся добыть мула и проводника за сорок песо. Сеньор Лер снабдит меня едой на неделю. У меня останется сто двадцать песо. После всех этих лет такая сумма была почти богатством. Когда он шел, то чувствовал

уважение встречных: завидя его, мужчины снимали шляпы. Он словно вернулся в прошлое, — к временам до гонений. Он ощущал, что входит в прежнюю привычную колею, точно в готовый футляр, который заставлял его высоко держать голову, определял его походку и даже диктовал слова.

— Отец! — раздался голос из трактира: толстый человек с тройным подбородком коммерсанта, несмотря на жару, в жилете, с цепочкой от часов.

— Я вас слушаю, — сказал священник.

Позади этого мужчины стояли бутылки минеральной, пива и спиртного. Священник вошел с пыльной улицы под свет жаркой лампы.

— В чем дело? — спросил он с нетерпимой властностью, такой новой для него и такой привычной.

— Отец, вам, наверное, нужно вино для богослужения?

— Да, но вам придется отпустить мне в долг.

— Сло́ва священника для меня более чем достаточно. Я человек набожный. Вообще вся эта деревня набожная. У вас наверняка будут крестины. — Он наклонился к нему с жадным выражением; вид у него был одновременно по-

чтительный и фамильярный, как при разговоре с образованным человеком своего круга.

— Может быть, может быть…

Трактирщик понимающе улыбнулся, — казалось, он хотел подчеркнуть, что между такими людьми, как они, все ясно без объяснений: «мы друг друга понимаем».

— В прежние времена, — сказал он, — когда церковь действовала, я был казначей «Общества Святого Причастия». Я добрый католик, отец. Народ здесь, конечно, очень невежественный. Не окажете ли вы мне честь выпить стаканчик бренди?

По-своему он был вполне искренен. Священник сказал, поколебавшись:

— Вы очень любезны.

Два стаканчика стояли уже наполненные; священник вспомнил, как пил в последний раз, сидя в темноте на койке, слушая шефа полиции, и смотрел, как исчезало вино по мере того, как темнело… Рука памяти срывала с него маску и обнажала его сущность. От запаха бренди во рту у него пересохло. «Вот артист! — думал он про себя. — Мне нечего здесь делать, среди порядочных людей». Он повертел стакан в руке, и вместе с ним в его глазах поплыли и все другие стаканы:

вспомнился зубной врач, который рассказывал ему о своих детях, Мария, выкапывающая из земли бутылку спиртного, которое она сберегла для него, попа-пропойцы.

Он неохотно выпил.

— Это хороший бренди, — сказал мужчина.

— Да, хороший.

— Я могу уступить дюжину бутылок за шестьдесят песо.

— Откуда у меня шестьдесят песо?

Он подумал, что там, по ту сторону границы, в каком-то смысле было лучше. Страх и смерть еще не самое худшее. Жизнь порой тянется напрасно.

— Не хочу наживаться на вас, отец. Пятьдесят песо.

— Пятьдесят, шестьдесят — для меня это одно и то же.

— Ладно. Еще стаканчик, отец? Это хороший бренди.

Человек перегнулся через прилавок и стал уговаривать священника.

— Тогда, может, полдюжины бутылок за двадцать четыре песо? В конце концов, крестин здесь много, — добавил он лукаво.

Казалось страшным, насколько человек легко все забывает и возвращается к прошлому; в его

ушах еще звучал собственный голос, каким он говорил на улице, словно он опять был в Консепсьоне, как будто он и не был нераскаянным грешником и дезертиром. Бренди приобрело противный вкус его порока. Малодушие и страсть Бог может простить, но можно ли простить благочестие, превращающееся в привычку? Он вспомнил женщину в тюрьме: как трудно было поколебать ее самодовольство; ему казалось, что он сам такой же, как она. Он выпил бренди, словно свое проклятие; люди, вроде метиса, могут быть спасены, в злое сердце спасение может ударить, как молния, но благочестие, ставшее привычкой, исключает все, кроме вечерних молитв, собраний приходских обществ и робкого прикосновения губ к твоей одетой в перчатку руке.

— Лас-Касас — прекрасный город, отец. Говорят, там можно служить мессу каждый день.

Вот еще один набожный человек. Их так много в мире. Священник снова налил себе бренди, но осторожно — в меру.

— Когда вы, отец, там будете, загляните к моему родственнику на Гваделупскую улицу. У него трактир около церкви. Он хороший человек, казначей «Союза Святого Причастия». В старые времена я тут тоже был казначеем. Он позаботит-

ся о том, чтобы вы купили недорого все, что вам нужно. Ну а как насчет бутылок в дорогу?

Священник пил. Почему бы ему не пить? Это стало теперь его привычкой, как благочестие и клерикальные интонации.

— Три бутылки, — сказал он, — за одиннадцать песо. Приберегите их для меня.

Он допил остаток и вышел на улицу; в окнах горели лампы, и широкая улица тянулась между ними, словно прерия. Он оступился, попал ногой в яму и почувствовал руку, которая его поддержала.

— А, Педро! — Так ведь его, кажется, зовут? — Спасибо, Педро.

— Рад услужить вам, отец.

Церковь стояла во мраке, словно глыба льда, которая тает на жаре. Крыша с одной стороны провалилась, карниз над дверями треснул. Священник украдкой взглянул на Педро, сжав губы, чтобы не чувствовался запах бренди, но видел только смутные очертания лица. С ощущением, будто он обманул жадного человека, сидящего в нем, он сказал:

— Передай людям, Педро, что за крещение я буду брать по одному песо. — Тогда ему все-таки хватит на бренди, пусть даже он придет в Лас-Ка-

сас без гроша. Секунду-две царило молчание. А затем прозвучал хитрый деревенский голос:

— Отец, мы бедны. Песо — это большие деньги. У меня, например, трое детей. Пусть будет семьдесят пять сентаво, отец.

* * *

Мисс Лер вытянула ноги, обутые в домашние туфли, а жуки летели на веранду из темноты.

— Как-то в Питтсбурге… — начала она.

Брат ее спал, держа на коленях старую газету, — значит, почта уже пришла. Священник весело хмыкнул, как в прежние дни, пытаясь быть компанейским, но напрасно. Мисс Лер замолкла и принюхалась.

— Странно, — промолвила мисс Лер. — Мне кажется, что пахнет спиртным.

Священник задержал дыхание, откинувшись в кресле-качалке. «Как спокойно, какое чувство безопасности!» — думал он и вспомнил горожан, которые не могут заснуть в деревне из-за тишины. Тишина может быть подобна шуму и давить на уши.

— О чем это я говорила, отец?

— О том, что было как-то в Питтсбурге.

— Да, конечно, в Питтсбурге. Я ждала поезда.

Мне нечего было читать: вы знаете, книги так дороги. Я хотела купить газету — любую, ведь новости в них одни и те же. Но когда я развернула ее, оказалось, что это «Полицейские новости». В жизни не подозревала, что печатают о таких страшных вещах. Разумеется, я прочла всего несколько строк. Это, наверное, было самое страшное, что когда-либо случалось со мной. Это… Ну, как бы сказать?.. Это открыло мне глаза.

— Понимаю.

— Я никогда не говорила об этом мистеру Леру. Он стал бы ко мне иначе относиться. Уверена, если бы он знал…

— Но в этом нет ничего дурного.

— Мне ведь не следовало этого знать. Разве не так?

Где-то вдали раздался крик птицы: лампа на столе начала коптить, мисс Лер потянулась к ней и убавила фитиль; казалось, потускнел единственный огонек на много миль вокруг. Священник снова ощутил во рту вкус бренди, словно запах эфира, напоминающий человеку, возвращенному к жизни, о недавней операции. Этот вкус напомнил ему о другом мире. Он еще не принадлежал этому безмятежному покою.

«Со временем все наладится, — подумал он. — Я вернусь. Я заказал только три бутылки. Они будут последними. Мне нельзя здесь пить». Он знал, что обманывает себя. Вдруг мистер Лер пробудился и сказал:

— Э, как я говорил…

— Дорогой, ты ничего не говорил, ты спал.

— Нет, мы говорили о негодяе Гувере…

— Да нет, дорогой, этот разговор был давно.

— Ладно, — сказал мистер Лер. — День был долгим. Кроме того, отец очень устанет… после всех этих исповедей, — добавил он с легкой брезгливостью.

С восьми до десяти шел непрерывный поток кающихся — два часа всего самого худшего, что могло за три года породить это маленькое местечко. Грехи были не слишком разнообразны — в городе зрелище было бы эффектнее; впрочем, может быть, и нет. Человек не может натворить многого. Пьянство, супружеские измены, непотребство. Священник сидел в конюшне — качалку поставили в стойло, — ощущая вкус бренди во рту, не глядя в лицо тому, кто опускался перед ним на колени. Другие ждали, стоя на коленях, в пустом стойле — за последние годы лошадей в конюшне мистера Лера не осталось, кроме одной

старой кобылы, которая шумно вздыхала в темноте в ответ на жалобный шепот исповеди.

— Сколько раз ты впадал в этот грех?

— Двенадцать, отец, а может быть, больше.

И снова лошадь вздыхала.

Он дивился чувству невинности, соседствующему с грехом — только твердый и щепетильный человек, а также святой, свободен от этого смешения. А эти люди уходили из стойла очищенными; только он один оставался без покаяния, исповеди и отпущения грехов. Ему хотелось сказать этому человеку: любовь не есть грех, но она должна быть радостной и открытой — она становится грехом, когда бывает тайной и безрадостной… Она может стать самым большим несчастьем, если не считать утраты Бога. Она и *есть* утрата Бога. Тебе не нужна епитимья, сын мой, ты и так достаточно настрадался. А другому ему хотелось сказать: вожделение не самое худшее; оно страшно потому, что в один прекрасный день может превратиться в любовь, от которой надо будет бежать. Но если мы любим собственный грех — мы действительно виновны.

Однако выработанная в исповедальне привычка вновь возвращалась к нему: будто он опять оказался в том маленьком, душном деревянном

гробу, в котором люди хоронят свое непотребство вместе со своим священником.

— Смертный грех… опасность… самообладание, — говорил он, будто эти слова что-то значили. — Прочтите три раза «Отче наш» и три раза «Богородицу».

Он устало шептал: «Стоит только начать пить…» Ему было ясно, что он не может привести никакого поучительного примера даже против этого заурядного греха, кроме себя самого, потому что от него несло перегаром бренди. Он давал епитимью сухо, быстро, механически. Человек отойдет, думая: «плохой священник», не чувствуя ни поддержки, ни интереса.

— Эти правила были созданы для человека, — сказал он. — Церковь не требует… Если ты не можешь поститься, ешь, — вот и все.

Старуха бормотала и бормотала. Кающиеся беспокойно ерзали в соседнем стойле, а лошадь тихо ржала. Старуха говорила о нарушении постных дней, о сокращении вечерних молитв… Вдруг неожиданно, со странным чувством, близким к ностальгии, он вспомнил о заложниках во дворе тюрьмы, ожидавших у умывальника и не глядевших в его сторону, вспомнил о страдании и терпении, которые продолжались всюду там, за

горами. Он гневно прервал женщину:

— Почему ты не исповедуешься по-настоящему? Мне не интересно знать, есть ли у тебя рыба и как тебя тянет ко сну по вечерам… Вспомни свои настоящие грехи.

— Но я порядочная женщина, отец, — пискнула она удивленно.

— Тогда что ты здесь делаешь, задерживая непорядочных людей? Скажи, ты кого-нибудь любишь, кроме самой себя?

— Я люблю Бога, отец, — сказала она высокомерно.

Он метнул быстрый взгляд на ее лицо, озаренное свечой, стоявшей на полу, жесткие старушечьи глаза, похожие на изюминки, под черной шалью. Еще одна благочестивая, вроде него самого.

— Откуда ты это знаешь? Любить Бога — это как любить мужчину… или ребенка, хотеть быть около Него, быть с Ним рядом! — Он безнадежно развел руками. — Это значит хотеть защитить Его от себя самой.

Когда последний исповедник ушел, он направился через двор к бунгало; ему было видно горящую лампу и мисс Лер, занятую вязанием; он вдыхал запах луговых трав, освеженных первым

дождем. Здесь есть все для того, чтобы человек был счастлив, не будь он так прикован к страху и страданию — несчастье, как и набожность, тоже может стать привычкой.

Быть может, его долг заключается в том, чтобы разрушить эту привычку и обрести внутренний мир. Он почувствовал огромную зависть ко всем, кто исповедовался перед ним и получил отпущение. «Через шесть дней, — говорил он себе, — я буду в Лас-Касасе и тоже...» Но ему не верилось, что кто-то где-то освободит его от тяжести, лежащей на душе. Даже когда он пил, он чувствовал, что к своему греху его привязывает любовь. От ненависти освободиться легче.

— Присядьте, отец, — сказала мисс Лер. — Вы, вероятно, устали. Я, разумеется, не одобряю исповеди. И мистер Лер тоже.

— Почему?

— Я не понимаю, как вы можете сидеть там, выслушивать все эти ужасы... Помню, как-то в Питтсбурге...

Еще с вечера привели двух мулов, чтобы он смог отправиться в путь немедленно после литургии, сразу же, как он окончит ее в амбаре мистера Лера. Его проводник где-то спал, наверное, около мулов — худенькое, нервное создание: он нико-

гда не был в Лас-Касасе и знал дорогу просто по рассказам. Накануне вечером мисс Лер настояла на том, что сама разбудит священника, но он и так проснулся до рассвета. Он лежал в кровати и услышал, как в соседней комнате словно телефон зазвонил будильник, тотчас в коридоре послышалось шлепанье домашних туфель мисс Лер и стук в дверь. Мистер Лер спокойно спал на спине, худой и прямой, словно статуя на надгробии епископа.

Священник лег с вечера одетым и поэтому открыл дверь прежде, чем мисс Лер успела удалиться. От испуга и смущения она слабо вскрикнула — сутулая фигура, на голове сетка для волос.

— Извините, — сказал он.

— Ничего, ничего. Сколько времени займет месса, отец?

— Будет очень много причастников. Наверное, минут сорок пять.

— Я приготовлю вам кофе и бутерброды.

— Не стоит беспокоиться.

— Мы не можем отпустить вас голодным.

Она проводила его до дверей и встала у него за спиной так, чтобы кто-нибудь невзначай не увидел ее этим безлюдным ранним утром. Серый свет стелился над пастбищами; у ворот все еще

роняло лепестки тюльпановое дерево; откуда-то издалека, из-за ручья, где он накануне купался, шли люди, направляясь из деревни к амбару мистера Лера — отсюда они казались такими маленькими, что их трудно было принять за человеческие существа. У него возникло ощущение ожидания счастья, в котором он будет участвовать, так ожидают детишки в кино или на родео; он подумал, что мог бы быть счастлив, если бы не оставил позади ничего, кроме нескольких тяжелых воспоминаний. Человек должен всегда предпочитать мир насилию, и его тянуло к миру.

— Вы были так добры ко мне, мисс Лер…

Каким странным казалось ему поначалу, что его принимают как гостя, а не как преступника или дурного священника. Этим еретикам никогда не приходило в голову, что он плохой человек; в отличие от собратьев-католиков, они не лезли в чужую душу.

— Мы были вам рады, отец. Но там вам будет лучше. Лас-Касас — превосходный город. Высоконравственный, как любит говорить мистер Лер. Если вы встретите отца Кинтану, передайте ему поклон — он был здесь три года назад.

Зазвонил колокол: его сняли с церковной колокольни и повесили у амбара мистера Лера. Он

звонил, как это и полагается, в любой воскресный день.

— Мне иногда хочется пойти в церковь, — сказала мисс Лер.

— А почему бы и не пойти?

— Это не понравилось бы мистеру Леру. Он очень строг. Но ведь теперь это случается так редко, — вряд ли следующая служба будет раньше, чем через три года.

— Я вернусь сюда раньше.

— Нет, едва ли. Дорога трудная, а Лас-Касас такой превосходный город. Там на улицах электрическое освещение, есть два отеля. Отец Кинтана обещал вернуться — но ведь всюду есть христиане, не так ли? Какой смысл возвращаться к нам? Ведь дела здесь обстоят не так уж плохо.

К воротам подошла небольшая группа индейцев: неуклюжие фигуры, явившиеся из каменного века. Мужчины в куцых плащах шли, опираясь на высокие посохи, а женщины с темными косами и грубыми лицами несли за спинами детей.

— Индейцы узнали, что вы здесь, — сказала мисс Лер. — Не удивлюсь, если они прошли пятьдесят миль.

Они остановились у ворот и смотрели на него; когда он взглянул на них, они стали на колени и

перекрестились — странным сложным способом, касаясь носа, ушей и подбородка.

Мисс Лер сказала:

— Моего брата раздражает, если он видит, как люди становятся на колени перед священником, но я не нахожу в этом ничего дурного.

За углом дома мулы били копытами: проводник вывел их, чтобы накормить маисом; мулы едят медленно, и надо было дать им время наесться. Пришла пора начинать обедню и пускаться в путь. Священник вдохнул запах раннего утра — все кругом было еще свежим и зеленым; из деревни за пастбищами слышался лай собак. В руке мисс Лер тикал будильник. Священник сказал:

— Я должен идти.

Он чувствовал странное нежелание покидать ее, этот дом и ее брата, спящего в комнате. В нем смешались чувства нежности и доверия. Когда человек приходит в себя после опасной операции и наркоза, ему дорого первое увиденное им лицо.

Облачения у него не было, но литургии, которые он отслужил в этой деревне, больше походили на служения прежних дней, чем любая, совершенная им за последние восемь лет, — не было страха, что его прервут, не надо спешить с причастием из-за приближения полиции. Был

даже алтарный камень, принесенный из закрытой церкви. Но именно из-за этого спокойствия он все больше сознавал собственный грех, когда готовился принять Святые Тайны. «Да не будет мне причастие тела Твоего, Господи Иисусе Христе, в суд и осуждение». Добродетельный человек может сомневаться в существовании ада, а он носил свой ад с собой. Порой он видел его во сне. «Господи, я недостоин… Господи, я недостоин…» Зло поселилось в его крови, словно малярия. И он вспомнил один свой сон: большая, поросшая травой арена, окруженная статуями святых. Но статуи были живыми, они оглядывались по сторонам, чего-то ожидая. Он тоже ждал со страшным напряжением; бородатые Петр и Павел, прижимая к груди Библии, следили за кем-то, входящим у него за спиной, кого он не мог видеть и от кого веяло угрозой, как от дикого зверя. Затем раздался металлический монотонный звук ксилофона, вспыхнул фейерверк, и по арене в танце прошел Христос. Он танцевал с окровавленным размалеванным лицом, приседая вверх-вниз, вверх-вниз, гримасничая, как блудница, и соблазнительно улыбаясь. Священник пробудился с чувством такого отчаяния, какое может охватить человека, обнаружившего, что последние деньги, которые

у него остались, — фальшивые.

— …И мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца, полную благодати и истины… — Литургия кончилась.

«Через три дня я буду в Лас-Касасе, — сказал он себе. — Я исповедуюсь и получу отпущение…» Но мысль о девочке, сидевшей на свалке, невольно возвращалась к нему, вызывая чувство мучительной любви. Какой смысл в исповеди, если любишь плод своего греха?

Когда он проходил по амбару, люди опускались на колени. Он снова увидел маленькую группу индейцев, женщин, у которых крестил детей, Педро; трактирщик тоже был здесь: он стоял на коленях, закрыв лицо пухлыми ладонями, на пальцах у него были четки. Он казался добрым человеком и, возможно, таким и был. Священник подумал: «Я, наверное, потерял способность понимать людей. Быть может, та женщина в тюрьме была там самым лучшим человеком». В тишине раннего утра заржала привязанная к дереву лошадь, и вся свежесть утра вливалась через открытую дверь.

Около мулов ждали два человека. Проводник прилаживал стремена, а рядом с ним, почесывая под мышкой, со смущенной и опасливой улыбкой

ждал его приближения метис.

Он был подобен слабой боли, которая напоминает человеку о его недуге, или неожиданному воспоминанию, доказывающему, что любовь все-таки не умерла.

— Так… — сказал священник. — Не ожидал тебя здесь встретить.

— Конечно, отец, не ожидали! — Он почесывался и ухмылялся.

— Ты привел с собой солдат?

— Что вы такое говорите, отец? — запротестовал он неуверенным смешком.

За его спиной, в открытой настежь двери, виднелась мисс Лер, которая готовила священнику бутерброды; она уже оделась, но еще не сняла сетки для волос. Она заботливо заворачивала бутерброды в вощеную бумагу, и ее спокойные движения производили странное впечатление чего-то нереального. Реальностью был метис.

— Какую штуку ты выкинешь теперь? — спросил священник. Быть может, метис подкупил проводника, чтобы тот увел его обратно через границу? От этого человека всего можно ждать.

— Вы не должны так говорить, отец.

Мисс Лер беззвучно скрылась из глаз, словно во сне.

— Не должен?

— Отец, я пришел сюда… — казалось, ему нужно было перевести дух, прежде чем он сделает свое удивительно высокомерное заявление, — пришел по долгу милосердия.

Проводник кончил седлать одного мула и взялся за следующего, укорачивая и без того короткие мексиканские стремена. Священник нервно усмехнулся:

— По делу милосердия?

— Да, отец. Вы единственный священник по эту сторону от Лас-Касаса. А человек умирает.

— Какой человек?

— Янки.

— Что ты несешь?

— Я говорю о человеке, которого искала полиция. Он ограбил банк. Вы знаете, о ком я говорю.

— Я ему не нужен, — нетерпеливо сказал священник, вспоминая облупленную стену и лицо с фотографии, которое смотрело на праздник Первого Причастия.

— Он добрый католик, отец! — Метис не смотрел на священника и почесывал под мышками. — Он умирает, а ни у вас ни у меня нет на совести столько, сколько у этого человека.

— Было бы хорошо, если бы у нас не имелось

кое-чего похуже.

— Что вы хотите сказать, отец?

— Он только убивал и грабил, но он не предавал.

— Матерь Божия! Я никогда…

— Мы оба предавали, — сказал священник и повернулся к проводнику. — Мулы готовы?

— Да, отец.

— Тогда трогаемся.

Он совершенно забыл о мисс Лер. Другой мир протянул к нему руку через границу, и он снова ощутил себя беглецом.

— Куда вы направляетесь? — спросил метис.

— В Лас-Касас.

Он с трудом взобрался на мула. Метис уцепился за его стремя. Ему вспомнилась их первая встреча; он слышал ту же смесь жалоб, просьб и оскорблений.

— Хорош священник! — вопил метис. — Если бы только ваш епископ *слышал* это. Человек умирает, он хочет исповедоваться, и только потому, что вам хочется попасть в город…

— Ты считаешь меня таким дураком? — сказал священник. — Я знаю, зачем ты явился. Ты у них единственный, кто может меня опознать. А в этом штате они меня преследовать не могут. Те-

перь, если я спрошу, где этот американец, ты мне скажешь, я уверен, можешь ничего не говорить, что он как раз по ту сторону границы.

— Ошибаетесь, отец, он как раз по эту сторону.

— Миля-другая не имеет значения. И никто здесь ничего не докажет.

— Просто ужасно, отец, когда тебе не верят, — сказал метис. — Только потому, что однажды я действительно…

Священник тронул мула с места. Он миновал двор мисс Лер и повернул на юг. Метис трусил, держась за его стремя.

— Помню, — сказал священник, — как ты уверял, что никогда не забудешь моего лица.

— Я и не забыл! — с торжеством в голосе ответил метис. — Иначе я не был бы здесь. Послушайте, отец, скажу вам откровенно. Вы не представляете, как соблазнительна награда для такого бедняка, как я. А когда вы мне не поверили, я решил: буду поступать так, как он обо мне думает. Но я добрый католик, отец, и если умирающий зовет священника…

Они взбирались по пологому склону пастбища мистера Лера, который вел к ближайшей цепи холмов. В шесть утра здесь, на высоте трех тысяч футов, было свежо; там, наверху, сегодня ночью

будет очень холодно — им предстояло подняться еще на шесть тысяч футов.

— Зачем мне совать голову в твою ловушку! — нервно сказал священник.

Все было совершенно нелепо.

— Взгляните, отец!

Метис держал клочок бумаги; знакомый почерк привлек внимание священника — крупный, старательный детский почерк. В эту бумагу завертывали еду — она была в жирных пятнах. Он прочел: «Принц Датский спрашивал себя, должен ли он совершить самоубийство; или лучше продолжать терзаться сомнениями насчет смерти отца, или же одним ударом…»

— Не здесь, отец, с другой стороны.

Священник перевернул листок и прочел единственную фразу, написанную по-английски тупым карандашом: «Ради Христа, отец…»

Мул, которого перестали подгонять, перешел на медленный, ленивый шаг: священник больше не понукал его; этот клочок бумаги не вызывал никакого сомнения. Священник почувствовал, как ловушка неумолимо захлопывается.

— Как к тебе это попало? — спросил он.

— Дело было так, отец. Я был с полицейскими, когда они в него стреляли. Это в деревне, на той

стороне. Он поднял ребенка, чтобы им заслониться, но, конечно, солдаты не обратили на это внимания. Это всего лишь индейский мальчик. Они стреляли в обоих, но тот парень скрылся.

— А потом что?

— Дело было так, отец.

Метис положительно стал болтлив. Как выяснилось, он боялся лейтенанта, который пришел в негодование, узнав, что священник бежал; поэтому-то метис решил тоже перебраться через границу, чтобы быть вне досягаемости. Он сбежал под покровом ночи и уже по эту сторону границы (кто знает, где она проходит?) по дороге наткнулся на американца. Тот был ранен в живот.

— Как же он смог убежать?

— Этот человек невероятно силен, отец. Он умирал и хотел священника.

— Что именно он сказал?

— Для этого нужно было всего два слова, отец.

Чтобы подтвердить свои слова, человек нашел в себе силы написать эту записку. Во всей этой истории много пробелов. Но оставалась записка, как надгробный камень. От нее нельзя было отмахнуться.

— Вы мне не доверяете, отец! — воскликнул метис со злостью.

— Конечно, — сказал священник.

— Думаете, я вру?

— Почти во всем.

Он остановил мула и сидел, раздумывая, повернувшись лицом к югу. Ему было совершенно ясно, что это ловушка; быть может, ее изобрел сам метис — он хотел получить вознаграждение. Однако оставался факт: американец был там, и он умирал. Священник подумал о покинутой банановой плантации, где что-то стряслось, о мертвом индейском мальчике, лежавшем на связке маиса; сомнений не было: в нем нуждаются. Человек с таким грехом на душе… Странное дело, он почувствовал радость; в сущности, он так и не верил в реальность этого покоя. Покой так часто снился ему по ту сторону границы и теперь оказался лишь сном. Он начал насвистывать песенку, которую где-то слышал: «Я пошла на поле, розу я нашла…» Пришло время проснуться. Хорош был бы сон, если б на исповеди в Лас-Касасе ему ко всему прочему пришлось бы сознаться, что он отказался принять покаяние человека, умиравшего в смертном грехе.

— А он доживет? — спросил он.

— Наверное, отец, — нетерпеливо дергал его метис.

— Далеко до того места?

— Четыре-пять часов езды, отец.

— Ты можешь ехать на другом муле по очереди с проводником.

Священник повернул своего мула назад и окликнул проводника. Тот спешился и стоял с безучастным видом. Он лишь сказал метису, указывая на седло:

— Осторожней с сумкой, там бутылки отца.

Они медленно поехали назад. Мисс Лер стояла у ворот. Она сказала:

— Вы забыли бутерброды, отец.

— Да, спасибо. Теперь это не имеет значения.

Он украдкой оглянулся.

— Мистер Лер еще спит? — спросил он.

— Разбудить его?

— Нет-нет. Поблагодарите его за гостеприимство.

— Конечно. Но, может быть, мы снова увидим вас через несколько лет, отец? Вы сами говорили.

Она с удивлением смотрела на метиса, а тот глядел на нее своими желтыми дерзкими глазами.

— Возможно, — сказал священник, отворачиваясь, чтобы скрыть улыбку.

— Тогда до встречи, отец. Вам лучше отправ-

ляться — солнце высоко.

— До свидания, милая мисс Лер.

Метис нетерпеливо ударил мула и погнал его.

— Вы не туда поехали! — окликнула его мисс Лер.

— Я должен сначала кое-кого навестить, — объяснил священник и, пустив мула тряской рысью, направился за метисом в сторону деревни. Они миновали побеленную церковь — она тоже была сном. В реальной жизни церквей не бывает. Длинная грязная улица открылась перед ними. Учитель стоял в дверях школы, он насмешливо помахал им, иронически поглядывая сквозь роговые очки.

— Что, отец? Поехали с добычей?

Священник остановил мула.

— В самом деле… я забыл… — сказал он метису.

— Вы неплохо заработали на крестинах, — сказал учитель. — Стоило подождать несколько лет, не так ли?

— Поехали, отец, — торопил метис. — Не слушайте его. Это скверный человек! — Он сплюнул.

— Вы знаете здешних людей лучше, чем кто-либо, — сказал священник. — Если я оставлю вам деньги, вы используете их на полезные вещи:

еду, одеяла, а не на книги?

— Еда им нужней, чем книги.

— Здесь у меня сорок пять песо…

— Что вы делаете, отец! — застонал метис.

— Хотите очистить совесть? — сказал учитель.

— Да.

— Что ж, я, разумеется, благодарен. Приятно видеть священника, у которого есть совесть. Это прогресс, — сказал учитель.

Стекла его очков блеснули на солнце — тучная фигура, полная горечи, на фоне его лачуги изгнанника.

Они миновали последние дома, кладбище и стали подниматься.

— Зачем вы это сделали, отец? Зачем? — возмущался метис.

— Это неплохой человек. Он делает все, что может. А мне ведь деньги не потребуются, не так ли? — сказал священник.

Некоторое время они ехали молча; солнце слепило глаза, а ноги мулов напрягались при подъеме по крутой каменистой дороге. Священник снова стал насвистывать: «У меня есть роза…» Это был единственный мотив, который он знал. Один раз метис начал жаловаться:

— Отец, с вами трудно потому… — Но жалоба

прервалась прежде, чем нашла выражение, потому что в действительности жаловаться было не на что: они безостановочно продвигались на север, к границе.

— Есть хочешь? — спросил наконец священник.

Метис пробурчал что-то сердито и насмешливо.

— Возьми бутерброд, — сказал священник, разворачивая пакет мисс Лер.

Глава II

— Здесь, — сказал метис; он торжествующе захохотал, как невинный человек, которого семь часов подозревали во лжи. Он указал на кучку индейских хижин, прилепившихся на скалистом выступе по ту сторону ущелья. До них было, вероятно, ярдов двести, но потребуется не меньше часа, чтобы спуститься на тысячу футов и еще на тысячу подняться.

Сидя на муле, священник пристально смотрел на деревню: никакого движения заметно там не было. Даже дозорная вышка — маленькая платформа из веток, устроенная на возвышающейся среди хижин насыпи, была пуста.

— Кажется, здесь нет ни души, — сказал священник.

Он снова очутился в атмосфере запустения.

— Но ведь вы никого и не ожидали здесь найти, кроме него, верно? — сказал метис. — А он здесь, вы скоро увидите.

— А где же индейцы?

— Опять вы за свое? Не доверяете! — заканючил метис. — Все время подозрения! Почем я знаю, где индейцы? Я же вам говорил, что он здесь совсем один.

Священник слез с мула.

— Что вы затеяли? — отчаянно закричал метис.

— Нам больше не нужны мулы. Их можно отправить назад.

— Не нужны? А как вы возвратитесь?

— Думаю, об этом мне не стоит беспокоиться, разве не так? — сказал священник.

Он отсчитал сорок песо и сказал проводнику:

— Я тебя нанял до Лас-Касаса. Тебе повезло. Я плачу за шесть дней.

— Я вам больше не нужен, отец?

— Нет. Лучше уезжай отсюда скорее. Не оглядываясь.

Метис, нервничая, сказал:

— Отец, не можем же мы проделать весь путь пешком. Ведь человек умирает.

— Мы можем идти так же быстро на своих двоих. А теперь, друг мой, уезжай.

Метис с тоской смотрел, как мулы, осторожно переставляя копыта, выбирали себе путь по узкой каменистой тропе; они исчезли за выступом скалы, простучали их копыта, и звук этот постепенно затих.

— Ну, — бодро сказал священник, — нам нечего задерживаться. — Перекинув через плечо котомку, он пошел вниз по тропе.

Сзади слышалось пыхтение метиса; он пускал газы, наверное, его слишком много поили пивом в столице; а священник думал со странной смесью презрения и симпатии, как много произошло с ними обоими после их первой встречи в деревне, названия которой он даже не знал; тогда, жарким полднем, метис лежал, раскачивая гамак голой желтой пяткой. Если бы в тот момент он спал, ничего бы этого не случилось. Поистине ему не повезло, этому бедолаге, что ему досталось бремя такого тяжкого греха. Украдкой бросив взгляд назад, он увидел пальцы ног, торчавшие из грязных кедов, словно личинки, метис спускался, глядя себе под ноги, и что-то бормотал — жалобы не

мешали ему портить воздух.

«Бедняга, — подумал священник, — на самом деле он не такой уж плохой...»

Метис тоже не был достаточно выносливым для такого путешествия. Когда священник добрался до дна ущелья, он отстал на пятьдесят ярдов.

Священник сел на валун и вытер лоб, а метис стал жаловаться, еще не дойдя до него.

— К чему так спешить?..

Казалось, чем ближе он был к предательству, тем больше обижался на свою жертву.

— Ты ведь говорил, что этот человек умирает.

— Понятно, умирает. Но это может тянуться долго.

— Чем дольше, тем лучше для всех нас, — сказал священник. — Наверное, ты прав. Я здесь отдохну.

Но теперь метис, словно капризный ребенок, хотел продолжать путь.

— Ни в чем вы не знаете меры! То несетесь, то сидите.

— Разве я ничего не могу делать правильно? — поддел его священник, а потом спросил прямо и резко: — Надеюсь, они дадут мне его увидеть?

— Конечно... — сказал метис и тут же прикусил язык. — Они, они! О ком вы говорите? Сперва вы

были недовольны, что деревня пуста, а теперь говорите «они». — В его голосе слышались слезы. — Возможно, вы хороший человек. Может, даже святой… Но почему вы не говорите ясно, чтобы вас можно было понять? Одного этого достаточно, чтобы стать плохим католиком.

— Видишь эту сумку? — сказал священник. — Какой смысл тащить ее дальше? Она тяжелая. Думаю, неплохо бы выпить. Нам обоим нужно набраться храбрости, не так ли?

— Выпить, отец? — спросил метис возбужденно и воззрился на бутылку, которую раскупоривал священник. Он не отрывал от нее взгляда, пока священник пил. Алчно обнажились два его клыка. Потом он тоже припал к горлышку.

— Наверное, это противозаконно, — с усмешкой сказал священник. — По эту сторону границы, — если мы по эту сторону.

Он еще раз глотнул и протянул бутылку метису. Скоро она опустела. Священник взял ее и разбил о скалу. Осколки взорвались, словно шрапнель. Метис вздрогнул:

— Будьте осторожны, — сказал он. — Люди могут подумать, что вы вооружены.

— Остальное нам не нужно.

— А разве еще есть?

— Две бутылки. Но не стоит больше пить на такой жаре. Лучше их оставить здесь.

— Почему вы не сказали, что несли такую тяжесть, отец? Давайте я понесу. Вам стоит только попросить — я все сделаю. Я готов вам услужить. Но вы сами не желаете.

Они снова стали подниматься вверх. Бутылки тихо звякали. Солнечные лучи падали на путников. Понадобился почти час, чтобы добраться до края ущелья. И вот над тропой нависла дозорная вышка, похожая на клык, а над скалами показались крыши хижин. Индейцы не строят жилищ у вьючных троп, они предпочитают селиться в стороне, чтобы видеть, кто идет. «Скоро ли появятся полицейские? — думал священник. — Видимо, они спрятались очень тщательно».

— Сюда, отец!

Метис вел его, карабкаясь в сторону от тропы вверх по скалам к небольшому плато. У него был тревожный вид, словно он ожидал, что здесь уже что-то случилось. Вокруг стояло с десяток хижин, безмолвных, как гробницы, на фоне потемневшего неба: надвигалась гроза.

Священник ощущал нервное нетерпение: он добровольно вступил в эту западню, им было бы проще всего ее быстро захлопнуть, и все кончит-

ся. Он подумал, что они убьют его, выстрелив из какой-нибудь хижины. Он достиг последней границы времени, скоро уже не будет «вчера» и «завтра» — просто он будет существовать в вечности; он пожалел, что не выпил побольше бренди. В голосе его прозвучала неуверенность, когда он сказал:

— Ну, мы пришли. Где же этот янки?

— Ах да, янки, — сказал метис, слегка вздрогнув. Казалось, он забыл о приманке. — Он был где-то здесь, когда я его оставил.

— Но ведь он не мог передвигаться, не так ли?

Не будь письма, он мог бы усомниться в существовании американца. И, конечно, если бы не видел мертвого ребенка. Он направился через маленькую безлюдную площадь к хижине. Успеет ли он войти, пока его не застрелили? Так идешь с завязанными глазами по доске и не знаешь, в какой миг оступишься и полетишь в бездну — навсегда. Он икнул и стиснул за спиной руки, чтобы они не дрожали. В каком-то смысле он был даже рад, что повернул от ворот мисс Лер в эту сторону — он никогда по-настоящему не верил, что сможет вернуться к приходской работе, ежедневной мессе и благочестивому декору. И все же не худо бы немного выпить, чтобы встретить смерть.

Он достиг двери. Вокруг ни звука. И в этот момент чей-то голос произнес:

— Отец!

Он оглянулся. На площадке стоял метис с перекошенным лицом; во рту прыгали два клыка. Он казался перепуганным.

— Чего тебе?

— Ничего, отец.

— Ты зачем меня звал?

— Я ничего не говорил, — солгал тот.

Священник повернулся и вошел.

Американец и в самом деле был здесь. Но жив ли он? Он лежал на соломенной подстилке с закрытыми глазами и открытым ртом; руки его покоились на животе, словно у больного ребенка. Страдание меняет лицо, а, быть может, удачное преступление имеет свою маску лжи, так же, как политика и благочестие. Он не был похож на фото с газетной вырезки, висевшей на стене в полицейском участке. То лицо было более жестокое и надменное, как лицо человека, которому сопутствует удача. А это — просто лицо бродяги. Страдание, обнажив нервы, придало ему черты обманчивой одухотворенности.

Священник встал на колени и приблизился к губам человека, пытаясь определить, дышит ли

он. От янки шел сильный запах — смесь рвоты, табака и винного перегара; потребовалось бы немало ароматных лилий, чтобы заглушить этот смрад. Еле слышный голос прошептал по-английски в ухо священника:

— Смывайтесь, отец.

Снаружи, под лучами грозового солнца стоял метис, заглядывая в хижину; колени его слегка дрожали.

— Вы живы? — торопливо сказал священник. — Надо спешить. Времени у нас осталось мало.

— Смывайтесь, отец.

— Вы ведь меня звали? Вы католик?

— Смывайтесь, — снова прошептал тот, словно это было единственное слово, которое он запомнил из некогда заученного урока.

— Итак, начнем, — сказал священник. — Давно вы исповедовались?

Веки разомкнулись, и изумленные глаза уставились на него.

— Лет десять назад, наверное, — сказал человек с недоумением в голосе. — А вы что тут делаете?

— Вы звали священника, я жду. Десять лет — долгий срок.

— Отец, вам надо смываться, — сказал человек. Теперь он снова вспомнил свои заученные слова;

распластавшись на подстилке, со сложенными на животе руками, он сосредоточил всю жизнь, которая в нем осталась, в свои мысли. Он походил на полураздавленную умирающую ящерицу.

— Этот ублюдок… — произнес он странным голосом.

— Разве так исповедуются! — гневно сказал священник. — Я проделал пятичасовой путь… а слышу от вас только слова злобы. — Ему казалось ужасно несправедливым, что его бесполезность вернулась вместе с опасностью: он ничего не мог сделать для такого человека.

— Послушайте, отец! — сказал человек.

— Я слушаю.

— Смывайтесь как можно скорей! Я не знал…

— Я проделал весь этот путь не для того, чтобы толковать обо мне. Чем скорей вы принесете свое покаяние, тем скорей я уйду.

— Обо мне не беспокойтесь. Мне крышка.

— Вы считаете — ваша душа погибла? — сурово спросил священник.

— Конечно, погибла, — ответил тот, облизывая кровь с губ.

— Слушайте меня, — сказал священник, наклоняясь ближе к запаху перегара и рвоты. — Я пришел сюда принять вашу исповедь. Хотите вы

исповедоваться?

— Нет.

— А когда писали эту записку, — хотели?

— Вроде бы.

— Я знаю, что вы хотите сказать мне. Знаю. Понимаете? И не надо тянуть. Вспомните, что вы при смерти. Нельзя все время рассчитывать на Божие прощение. Он дал вам этот шанс. Другого может не быть. Какую жизнь вели вы все эти годы? И что это вам дало. Вы убили много людей — вот и все ваши достижения. Любой способен на это какое-то время, а потом его тоже убивают. Так же, как сейчас вас убили. И ничего не осталось, кроме страдания.

— Отец!

— Что? — священник вздохнул, охваченный нетерпением, и наклонился ближе. На миг в нем шевельнулась надежда, что он наконец пробудил в этом человеке искру раскаяния.

— Отец, возьмите мой револьвер. Понятно?.. У меня под рукой…

— Оружие мне не нужно.

— Нет, нужно.

Человек сдвинул руку с живота и начал медленно поднимать ее вверх по телу. Это стоило ему огромных усилий: зрелище было невыносимым.

— Лежите смирно! — сказал священник резко. — Револьвера здесь нет.

Он увидел пустую кобуру под мышкой у человека; это был первый определенный признак, что здесь находились не только они и метис.

— Ублюдки, — сказал человек, и его рука бессильно замерла там, куда она дотянулась — на сердце; он был похож на статую женщины в стыдливой позе: одна рука на груди, другая — на животе. В хижине было страшно жарко. Зловещий предгрозовой свет озарял их.

— Послушайте, отец…

Священник сидел рядом с человеком, полный чувства безнадежности: ничто не могло вернуть мир в эту ожесточившуюся душу; наверное, это было возможно много часов назад, когда он писал эту записку — но теперь шанс был упущен. Теперь тот шептал что-то о ноже. Многие преступники верят в легенду, будто в глазах умирающих запечатлевается то, что они видят перед концом. Христианин может верить, что нечто подобное происходит с душой: она обретает мир и прощение в последний миг жизни, наполненной страшными преступлениями; но иногда набожный человек внезапно умирает, случайно оказавшись в борделе, без отпущения

грехов, тогда он сохраняет неизгладимую печать нечистоты, перечеркивающую всю жизнь его, казавшуюся добродетельной. Священнику приходилось слышать, что раскаяние на смертном одре — нечестная уловка, как будто так легко расстаться с укоренившейся привычкой делать добро либо зло. Люди верят, что добрая жизнь может кончиться плохо, а плохая — хорошо. Он сделал еще одну отчаянную попытку:

— Вы когда-то были верующим, — сказал он. — Постарайтесь понять: это ваш последний шанс. Проскочите в последний момент. Подобно евангельскому разбойнику. Вы убивали людей… — И, вспомнив о маленьком темном свертке у подножия креста, добавил: — И, может быть, детей. Но сейчас не это важно. Это относится к земной жизни. Всего несколько лет — и все уже кончено. Вы можете сбросить с себя этот груз здесь, в этой хижине, и обрести вечную жизнь.

Он ощущал печаль и тоску, когда в нем мелькнул смутный образ жизни, которую он сам не мог вести, жизни, заключенной в словах «мир», «слава», «любовь»…

— Отец! — настойчиво прозвучал голос. — Бросьте меня, позаботьтесь о себе. Возьмите… мой… нож.

Его рука снова медленно поползла, на сей раз к бедру. Он согнул с усилием колени и попытался повернуться, но тут все тело его обмякло, и он испустил дух; конец.

Священник прошептал слова отпущения грехов, которые полагалось произносить на случай, если душа в ту секунду, когда переходит рубеж, покается; но, скорей, было похоже, что она вместо этого перешла в мир иной, все еще поглощенная мыслью о ноже и насилии.

— Боже милосердный! — молился священник. — Ведь, умирая, он думал обо мне, о том, чтобы спасти мне жизнь… — Но уверенности в его молитве не было. В лучшем случае получалось, что один преступник помогал бежать другому; как ни посмотреть на это, ни у одного из них не было особой заслуги.

Глава III

— Ну, вы уже кончили? — произнес голос.

Священник поднялся и испуганно кивнул. Он узнал того полицейского офицера, который дал ему деньги в тюрьме: темная щеголеватая фигура в дверях, краги поблескивали в ярком предгрозовом свете. Рука его лежала на револьвере, и он

хмуро смотрел на мертвого преступника.

— Меня вы здесь не ожидали увидеть? — спросил он.

— Ожидал, — отозвался священник. — Должен вас поблагодарить.

— Поблагодарить? За что?

— За то, что вы оставили меня с ним наедине.

— Я не варвар, — сказал офицер. — Теперь, будьте любезны, выходите. Пытаться бежать бесполезно. Взгляните! — добавил он, когда священник вышел и осмотрелся: человек двенадцать солдат с винтовками окружали хижину.

— Мне уже надоело быть беглецом, — сказал он.

Метис исчез. Тяжелые тучи громоздились на небе; в сравнении с ними настоящие горы казались сверкающими игрушками. Священник вздохнул и нервно рассмеялся.

— Скольких усилий мне стоило перебраться через эти горы, и вот… я здесь…

— Мне никак не верилось, что вы вернетесь.

— Ну, лейтенант, вы-то это можете понять. Даже у труса есть чувство долга.

Он почувствовал, как его лица коснулся свежий ветер, который иногда дует перед грозой. С наигранным спокойствием он спросил:

— Вы сейчас же меня расстреляете?

— Я не варвар, — угрюмо повторил лейтенант. — Вас будут судить… по закону…

— За что?

— За измену.

— Мне придется тащиться с вами в город?

— Да. Если только вы не попытаетесь бежать. — Он положил руку на револьвер, словно ни на минуту не доверял священнику. — Где-то я вас…

— Да, видели, — сказал священник. — Вы встречались со мной дважды. Когда брали заложника в моей деревне, вы спросили мою дочь: «Кто это?» А она сказала: «Это мой отец». И тогда вы меня отпустили.

Вдруг горы исчезли, и хлынул дождь, точно кто-то плеснул им водой в лицо.

— Быстро! В хижину! — сказал лейтенант и крикнул одному из солдат: — Принесите ящики, чтобы мы могли сесть!

Они сидели рядом с мертвецом в хижине, а снаружи бушевала гроза. Солдат, промокший насквозь, внес два ящика.

— Свечу! — приказал лейтенант. Он сел на ящик и вынул револьвер. — Садитесь здесь, подальше от двери, чтобы я мог вас видеть, — сказал он.

Солдат зажег свечу и укрепил ее на жестком

земляном полу, а священник сел подле американца. Мертвец застыл в том же положении, которое принял, стараясь достать нож. Казалось, он хотел дотянуться до своего собеседника и сказать ему что-то на ухо. Они были похожи: грязные, небритые. А лейтенант казался человеком совсем другого класса.

— Так что же, у вас есть ребенок? — презрительно спросил лейтенант.

— Есть.

— У вас, священника?

— Не думайте, что все священники такие, как я. — Он смотрел на блестящие пуговицы мундира лейтенанта, отражавшие огонь свечи. — Есть хорошие священники, есть и плохие. Просто я плохой священник.

— Тогда, выходит, мы окажем услугу вашей церкви…

— Выходит, так.

Лейтенант бросил на него пристальный взгляд, словно решил, что над ним издеваются.

— Вы сказали: дважды. Что я дважды вас видел.

— Да, я был в тюрьме. И вы дали мне денег.

— Вспоминаю… — проговорил тот, распаляясь. — Невероятная досада! Вы были у нас в руках,

а мы вас отпустили. Подумать только, что мы потеряли двух людей, гоняясь за вами. А они могли бы жить… — Свеча зашипела, когда капли дождя стали просачиваться сквозь кровлю. — Этот американец не стоил нам двух жизней. От него не было настоящего вреда.

Дождь лил непрерывно. Они сидели молча. Вдруг лейтенант сказал:

— Выньте руку из кармана!

— Я просто хотел достать колоду карт. Может, так легче будет скоротать время…

— Я в карты не играю! — резко сказал лейтенант.

— Нет, нет, я не имел в виду игру. Просто я хотел показать вам несколько фокусов. Можно?

— Пожалуйста, если вам хочется.

Старую колоду карт дал ему мистер Лер.

— Видите три карты? — спросил священник. — Туз, король и валет. Теперь скажите, какая из них туз?

Он разложил карты веером на полу.

— Эта, конечно, — сказал лейтенант недовольно, не проявляя никакого интереса.

— Ошиблись, — сказал священник, переворачивая карту. — Это валет.

— Забава для шулеров и детей, — презрительно

заметил лейтенант.

— А вот другой фокус. Он называется «убегающий валет». Я делю колоду на три части, вот так. Беру валета червей и кладу в середину одной из стопок, вот так. Теперь меняю местами три стопки…

Лицо его просветлело, когда он говорил; он так давно не держал в руках карт. Были забыты гроза, покойник и упрямо враждебное лицо напротив.

— Я говорю: валет, беги! — Он разделил надвое стопку, которая была у него в левой руке, и показал: — И вот он здесь.

— У вас наверняка два валета.

— Проверьте сами.

Лейтенант нехотя нагнулся и проверил центральную стопку.

— Вы, наверное, говорите индейцам, что это Божье чудо.

— Ничего подобного, — засмеялся священник. — Индеец меня этому и научил. Он был самым богатым человеком в деревне. Это неудивительно при такой ловкости рук. А показывал я эти фокусы во время приходских праздников, которые устраивали для членов церковных обществ.

Какое-то почти физическое отвращение пере-

дернуло лицо лейтенанта.

— Эти общества я помню! — сказал он.

— Когда были ребенком?

— Я был достаточно взрослым, чтобы понять…

— Что понять?

— Мошенничество! — Он в ярости схватился за револьвер, словно решив, что лучше тут же, раз и навсегда, уничтожить эту тварь. — Какое все это было самооправдание, какая фальшь! — сказал он. — «Продай все и раздай бедным» — так вы учили, верно? Но сеньора такая-то, жена аптекаря, заявляет, что эта семья не заслуживает помощи, а сеньор такой-то говорит, что если люди мрут с голоду, то они это заслужили, они все социалисты. А священник — вы! — замечает всех, кто исполнил свой долг на Пасху и внес свои пожертвования. — Лейтенант так повысил голос, что полицейский заглянул внутрь, а потом снова вернулся под проливной дождь. — Церковь бедная, священник — бедняк, и каждый должен был продать все и отдать Церкви.

— Как вы верно говорите! — сказал священник, но тут же быстро добавил: — И в то же время как ошибаетесь.

— О чем вы? — гневно крикнул лейтенант. — Верно говорю? Вы даже не пытаетесь защи-

щать…

— Я сразу понял, что вы хороший человек, когда вы дали мне денег в тюрьме.

— Я вас слушаю только потому, что вам не на что надеяться. Совершенно не на что! Что бы вы ни сказали, это не будет иметь никакого значения.

— Разумеется.

Он не собирался злить лейтенанта, но за последние восемь лет ему так редко приходилось говорить с кем-нибудь, кроме немногих крестьян и индейцев. И теперь что-то в его тоне раздражало лейтенанта.

— Вы опасны! — говорил он. — Вот почему мы вас уничтожаем. Лично против вас я ничего не имею.

— Понятно. Вы имеете нечто против Бога. А я принадлежу к такого рода людям, которых вы ежедневно сажаете в тюрьму и даете им деньги.

— Я не веду борьбу с фикциями.

— Но ведь со мной бороться не стоит, не так ли? Вы сами так сказали — обманщик и пьяница. Этот человек в большей степени заслужил пулю, чем я.

— Я веду борьбу с вашими идеями! — Лейтенант вспотел в жарком, влажном воздухе

хижины. — Вы такие изворотливые, вся ваша братия. Но скажите, что вы сделали в Мексике для *нас*? Говорили вы плантатору, что он не должен хотя бы бить своих пеонов? О да, конечно, вы, быть может, говорили ему это в исповедальне, но разве вы не выбрасывали это из памяти? Вы шли к нему обедать, и не ваша обязанность помнить, что он убил пеона. Вот и все. Он оставил все это в вашем исповедальном шкафу.

— Продолжайте, — сказал священник.

Он сидел на ящике, опустив голову, с руками, сложенными на коленях; он старался сосредоточиться на словах лейтенанта и не мог.

«До столицы сорок восемь часов, — думал он. — Сегодня воскресенье. В среду меня уже, наверное, не будет в живых». Он ощущал себя предателем, потому что больше боялся боли от пуль, чем того, что будет потом.

— Словом, у нас тоже есть идеи, — говорил лейтенант. — Ни копейки за молитвы и на здания для молитв. Вместо этого мы накормим людей, научим грамоте, дадим им книги, позаботимся о том, чтобы они не страдали.

— А если они хотят страдать…

— Ну а если кто-нибудь хочет изнасиловать женщину, что же — мы должны это позволить

ему, если ему хочется? Страдание есть зло.

— Но вы сами все время страдаете, — заметил священник, глядя на мрачное индейское лицо, озаренное пламенем свечи. — Все это звучит превосходно, не правда ли? И ваш шеф таких же убеждений?

— Плохие люди есть и у нас.

— А что будет потом? После того как все будут сыты и смогут читать подходящие книги, — книги, которые вы им разрешите читать?

— Ничего не будет. Смерть есть факт. Мы не пытаемся идти вразрез с фактами.

— Во многом мы с вами мыслим одинаково, — сказал священник, рассеянно тасуя карты. — Мы тоже признаем факты, тоже не пытаемся идти вразрез с ними: несчастны все — и богатые, и бедные, все, кроме разве что святых, — но их немного. Не стоит слишком беспокоиться о недолгом страдании этой жизни. Одно мы оба хорошо знаем: через сто лет никого из нас не будет в живых.

Он неловко пытался перетасовать карты: руки его дрожали.

— И все же сейчас вас больше всего волнует недолгое страдание, — язвительно заметил лейтенант, следя за его руками.

— Но я же не святой. Я даже не храбрый человек, — заметил священник.

Он испуганно поднял глаза. Небо прояснилось, свеча была уже не нужна. Скоро будет достаточно светло, чтобы пуститься в долгий обратный путь. Ему очень хотелось продлить разговор, чтобы хоть на несколько минут оттянуть уход.

— Вот еще одно различие между нами, — сказал он. — Плохому человеку нет смысла трудиться ради вашей цели; вы должны быть чисты. Но ваша партия не всегда будет состоять из одних хороших людей. А значит, опять вернутся голод, побои, незаконно добытое богатство. А тот факт, что я трус и так далее, не имеет слишком большого значения. Все равно я могу причащать человека и давать ему Божье прощение. И так было бы, даже если бы все священники походили на меня.

— Вот еще одна вещь, которая мне непонятна, — сказал лейтенант. — Почему вы — из всей вашей братии — должны были остаться здесь, когда все остальные бежали?

— Бежали не все.

— Но вы-то почему остались?

— Я сам однажды задал себе этот вопрос, — сказал священник. — Дело в том, что человеку не

предлагается внезапный выбор между добром и злом. Он втягивается постепенно. В течение первого года я даже не думал, что надо бежать. Ведь церкви разрушали и прежде — вы сами знаете, как часто это бывало. Не в этом дело. Я думал: пробуду еще месяц и посмотрю, не улучшится ли положение. А потом… Вы себе не представляете, как быстро может лететь время.

Стало совсем светло; дождь кончился, жизнь должна была продолжаться. Полицейский заглянул в хижину и с удивлением посмотрел на них.

— Знаете, — продолжал священник, — в один прекрасный день я вдруг понял, что остался единственным священником на многие мили вокруг. Закон о браке священников доконал их. Все уехали — и правильно сделали. Был среди них один, которому я никогда не нравился. Я, видите ли, — болтун. Он говорил, и совершенно справедливо, что характер у меня нетвердый. Он бежал. Вам будет смешно, но это было как в школе, когда задиристый парень, которого я годами боялся, вышел из школьного возраста и был исключен. Мне уже не нужно было считаться с чьим-то мнением. А народ не внушал мне опасения. Меня любили.

Он смущенно улыбнулся, покосившись на скор-

ченное тело янки.

— Продолжайте, — мрачно сказал лейтенант.

— При таких темпах вы узнаете обо мне все, — сказал священник с нервным смешком, — прежде, чем мы доедем до… тюрьмы.

— Это хорошо. Я имею в виду — хорошо знать своего врага.

— Тот священник был прав. Когда он уехал, я стал распадаться: одно шло за другим. Я стал небрежно исполнять свои обязанности. Начал пить. Думаю, было бы куда лучше, если бы я тоже уехал. Потому что мной все время руководила гордыня. Не любовь к Богу.

Он сидел на ящике, понурившись, пухлый человечек в поношенном костюме с плеча мистера Лера.

— Гордыня была причиной падения ангелов, — продолжал он. — Гордыня вообще самая ужасная вещь. Я считал себя молодцом: остался, когда другие бежали. А потом решил, что я такой герой, что могу жить по собственным правилам. Перестал поститься, служить ежедневно мессу. Был небрежен к молитвам, а однажды в пьяном состоянии, чувствуя одиночество, — вы знаете, как это бывает, — я прижил ребенка. И всё моя гордыня. Гордыня — просто из-за того, что я

остался. Я остался, хотя от меня не было пользы. Во всяком случае — мало пользы. Дошло до того, что я не причащал и сотни людей в месяц. Если бы я уехал, я дал бы Богу в двенадцать раз больше. Ошибка думать, что лишь потому, что дело трудно или опасно… — он всплеснул руками.

— Мучеником вы станете, будьте покойны. — сказал лейтенант с яростью.

— О нет, мученики непохожи на меня. Они бы не думали на моем месте, что, выпей я побольше бренди, мне было бы не так страшно.

— В чем дело? — резко обратился лейтенант к человеку у двери. — Что вы тут толчетесь?

— Лейтенант, гроза прошла. Скоро мы отправимся?

— Сейчас же.

Он поднялся и спрятал револьвер в кобуру.

— Приготовьте лошадь для арестованного. И пусть несколько человек поскорее выроют могилу для янки.

Священник положил карты в карман и встал.

— Вы слушали меня очень терпеливо, — сказал он.

— Я не боюсь чуждых идей, — ответил лейтенант.

Снаружи от земли шел пар; туман поднимался

почти до колен. Лошади были готовы; священник сел в седло, но прежде, чем они тронулись, чей-то голос заставил его обернуться: то самое ворчливое причитание, которое он слышал так часто.

— Отец! — это был метис.

— Ну, ну. Опять ты? — сказал священник.

— Я знаю, что вы думаете. Это не очень-то милосердно, отец. Вы все время думали, что я вас предам.

— Убирайся! — отрезал лейтенант. — Ты свое дело сделал.

— Можно мне сказать ему пару слов, лейтенант? — спросил священник.

— Вы добрый человек, отец, — поспешно вмешался метис. — Но вы плохо думаете о людях. Я просто хочу получить ваше благословение.

— Зачем оно тебе? Благословение не продашь.

— Просто потому, что мы больше не увидимся. А я не хотел бы, чтобы вы отправились туда, думая обо мне плохо…

— До чего ты суеверный! — сказал священник. — Думаешь, мое благословение закроет Богу глаза, как шоры? Я не могу помешать Ему знать, как обстоит дело. Лучше иди домой и молись. А потом, если Он даст тебе благодать раскаяния, раздай эти деньги…

— Какие деньги, отец? — Метис стал злобно дергать его за стремя. — Какие деньги? Вы опять за свое…

Священник вздохнул. Испытание опустошило его. Страх может измотать больше, чем долгая, монотонная езда верхом.

— Я буду молиться за тебя, — сказал он и ударил свою лошадь, чтобы поравняться с лошадью лейтенанта.

— И я буду молиться за вас, отец! — заявил метис, успокоенный.

Священник оглянулся лишь раз, когда лошадь стала спускаться по крутой тропе среди скал. Метис стоял один среди хижин; рот его был приоткрыт и обнажал два больших клыка. Казалось, его сфотографировали в момент, когда он жаловался или кричал, что он добрый католик; одна рука почесывала под мышкой. Священник помахал ему; он не держал зла на этого человека, так как ничего другого не ждал от людей, и был только доволен, что это желтое лицо предателя не будет рядом с ним «в смертный час».

— Вы образованный человек, — сказал лейтенант. Он лежал у порога хижины, держа револьвер рядом с собой и положив голову на скатанный плащ. Была ночь, но оба не могли

заснуть. Священник отодвигался, слегка постанывал из-за того, что затекло тело; лейтенант спешил вернуться домой, и ехали они до самой полуночи. С холмов они спустились и теперь двигались по равнине. Скоро весь штат перегородят болота. Дожди начались уже по-настоящему.

— Не такой уж я образованный. Мой отец был лавочником.

— Я имею в виду, что вы были за границей. Можете говорить, как янки. Учились.

— Учился.

— А я должен был до всего доходить сам. Но существуют такие вещи, которым можно научиться и без школ: что есть богачи и бедняки. — И добавил тихо: — Из-за вас я расстрелял трех заложников. Бедняков. Поэтому я вас возненавидел.

— Понимаю, — сказал священник и попытался встать, чтобы облегчить судорогу в правой ноге. Лейтенант мгновенно сел с револьвером в руке.

— Что вы там делаете?

— Ничего, просто судорога. — Он снова, застонав, улегся.

— Я сам расстрелял тех людей! — сказал лейтенант. — Они принадлежали к моему народу. Я хотел подарить им целый мир.

— Кто знает? Может, вы это и сделали.

Лейтенант вдруг с отвращением плюнул, словно в рот ему попало что-то противное.

— У вас на все есть бессмысленные ответы, — сказал он.

— Я никогда не был ученым человеком. Память плохая. Но в людях вроде вас меня всегда удивляло одно. Вы ведь ненавидите богатых и любите бедных?

— Именно так.

— Допустим, если бы я вас ненавидел, хотелось бы мне воспитать своего ребенка так, чтобы он был похож на вас? Это было бы нелепо.

— Вы просто темните.

— Может быть. Я никогда не мог понять ваши идеи до конца. Мы всегда говорим, что бедняки благословенны, а богатым трудно попасть на небо. Зачем же нам хотеть, чтобы и беднякам это стало трудно? О, конечно, сказано: бедным нужно помогать, чтобы они не голодали. Голод может вынудить человека поступать дурно, как, впрочем, и деньги. Но зачем нам давать беднякам власть? Не лучше ли им умереть в грязи и попасть на небо, если только мы не толкаем их лицом в грязь.

— Мне противны ваши аргументы, — сказал лейтенант. — Мне аргументы не нужны. Люди

вроде вас, если увидят кого-то в беде, только болтают. Вы сказали, что страдания, вероятно, неплохая вещь, что оно может когда-нибудь сделать человека лучше. А я хочу следовать велению сердца.

— С помощью револьвера?

— Да, револьвера.

— Когда вы доживете до моих лет, вы, быть может, поймете, что сердце — это зверь, которому не следует доверять. Разум — тоже, но он, по крайней мере, не говорит о любви. Любовь! Девушка бросается в воду или убивает ребенка, а сердце продолжает твердить: любовь, любовь…

Некоторое время они лежали молча в хижине. Священник решил, что лейтенант заснул. Но тот снова заговорил.

— Вы никогда не говорите прямо. Мне говорите одно, другому — «Бог есть любовь». Вы поняли, что со мной это не пройдет, и поэтому выражаетесь иначе. Надеетесь, что я с вами соглашусь.

— О, это совсем другое дело. Бог *действительно* есть любовь. Я не хотел сказать, будто сердцу любовь совсем незнакома. Знакома, но как? Малюсенький стаканчик любви смешан с большой кружкой грязной воды. В такой смеси невозможно распознать *ту* любовь. Та любовь может даже

выглядеть как ненависть. Она может даже напугать нас — любовь Божия. Ведь она зажгла куст в пустыне, она открывала могилы и заставляла мертвых бродить во мраке. Человек, вроде меня, убежал бы далеко, если бы ощутил рядом с собой эту любовь.

— Вы Ему не очень-то доверяете, верно? Он кажется не слишком благодарным для Бога. Если бы мне человек служил так, как вы служили Ему, я бы повысил его в чине и позаботился для него о приличной пенсии… а если бы он заболел раком, пустил бы ему пулю в лоб.

— Послушайте, — серьезно сказал священник и подвинулся к нему, навалившись на затекшую ногу, — я не такой уж двуличный, как вы думаете. С чего вы взяли, будто я говорил с амвона людям, что им грозит осуждение, если смерть настигает их врасплох? Я не рассказываю им сказок, в которые сам не верю. Я ничего не знаю о милосердии Божьем. Я не знаю, в какой мере ужасает Его человеческое сердце. Но одно я знаю: если хоть один человек в этом штате осужден на адские муки, значит, буду осужден и я. — И он медленно добавил: — Я ничего другого не хочу. Я просто хочу справедливости, и все.

* * *

— Мы доберемся засветло, — сказал лейтенант.

Шесть человек ехали впереди, шесть — позади; временами в полосах леса между речными протоками им приходилось вытягиваться в цепочку. Лейтенант был неразговорчив, и один раз, когда один или двое из его людей затянули песню о толстом лавочнике и его жене, он раздраженно велел им замолчать. Все это не походило на шествие победителей. Священник ехал со слабой улыбкой, застывшей на губах. Казалось, он надел маску, чтобы спокойно размышлять про себя. Мысли его вращались главным образом вокруг боли. Хмуро глядя вперед, лейтенант сказал:

— Мне кажется, вы надеетесь на чудо.

— Простите, что вы сказали?

— Я сказал: мне кажется, вы надеетесь на чудо.

— Не надеюсь.

— Но ведь вы верите в чудеса?

— Верю. Но не для меня. Я больше никому не нужен, так зачем Богу сохранять мне жизнь?

— Не могу взять в толк: как такой человек, как вы, может верить в подобные вещи. Индейцы — другое дело. Увидев впервые электрическую лампочку, они решают, что это чудо.

— А я вам скажу: вы точно так же подумаете, впервые увидев человека, воскресшего из мертвых. — Он неуверенно усмехнулся, сохраняя свою улыбчивую маску. — Забавно, не правда ли? Дело не в том, что чудес не бывает. Просто люди называют их иначе. Представьте себе врачей вокруг покойника: он не дышит, пульс исчез, сердце не бьется — он мертв. Но потом кто-то возвращает его к жизни, и все они, — как это говорится? — «остаются при своем мнении». Они не назовут это чудом, потому что не любят слова «чудо». Затем это повторяется снова и снова — ибо Бог пребывает среди нас. Но они все равно говорят: чудес не бывает, просто мы должны расширить наше понятие о жизни. Теперь мы знаем, что можно лежать без пульса, без дыхания, с остановившимся сердцем — и быть живым. Придумывают новое слово, чтобы назвать такое состояние жизнью, и говорят, что наука опровергла чудо. — Он снова усмехнулся: — Их не проведешь.

Они выбрались с лесной тропы на твердую дорогу; лейтенант пришпорил лошадь, и вся кавалькада пустилась вскачь. Они были уже недалеко от дома.

— Вы неплохой малый, — проворчал лейтенант. — Могу ли я что-нибудь сделать для вас?

— Если бы вы позволили мне исповедаться…

Впереди показались первые дома: маленькие, полуразвалившиеся глинобитные хижины, несколько классических колонн, сделанных тоже из глины, но покрытых штукатуркой; грязный ребенок играл среди камней.

— Но здесь и нет священника, — заметил лейтенант.

— А падре Хосе?

— Падре Хосе? — презрительно отозвался лейтенант. — Он для вас не годится.

— Для меня вполне годится. Здесь ведь трудно рассчитывать найти святого.

Некоторое время лейтенант ехал в молчании. Они приблизились к кладбищу, с его облупленными статуями ангелов, и миновали большие ворота с черной надписью: «Silencio».

— Хорошо, — сказал лейтенант. — Вы его получите.

Он отвернулся, когда они проезжали мимо кладбищенской стены, у которой расстреливали заключенных. Дорога круто спускалась к реке. Справа, там, где прежде возвышался собор, стояли под палящим солнцем пустые железные качели. Здесь повсюду чувствовалось запустение, даже больше, чем в горах, ибо тут когда-то

кипела жизнь. «Нет пульса, нет дыхания, сердце не бьется, но все же это жизнь, — думал лейтенант. — Нам только нужно найти для этого название».

За ними пристально следил мальчик.

— Лейтенант, вы его поймали?

Лейтенант смутно вспомнил лицо, которое видел как-то на площади, и разбитую бутылку; он попытался ответить улыбкой, но вышла странная горькая гримаса; в ней не было ни торжества, ни надежды. Все надо было начинать сначала.

Глава IV

Лейтенант дождался наступления темноты и пошел сам: было опасно кого-нибудь посылать. Слух о том, что падре Хосе разрешили выполнить церковный обряд, сразу разнесется по городу. Никто не должен знать, даже шеф; нельзя доверять начальникам, особенно если тебе повезло больше, чем им. Как ему было известно, шеф не обрадовался, что он захватил священника: с его точки зрения, лучше было бы, чтобы тот скрылся.

Во дворике он почувствовал на себе множество пристальных взглядов: сбежались дети,

готовые кричать, как только появится падре Хосе. Лейтенант пожалел о своем обещании, но решил сдержать слово, потому что докажи он свое превосходство хоть в чем-то — в смелости, правдивости или справедливости — это было бы поражением старого, порочного, покорного Богу мира…

На стук никто не ответил; он мрачно стоял во дворе, словно проситель. Потом снова постучал.

— Сейчас, сейчас! — раздался голос.

Падре Хосе прижался лицом к оконной решетке и спросил:

— Кто там? — Казалось, он что-то ищет внизу.

— Лейтенант полиции.

— Извините, — пискнул падре Хосе. — Мои брюки… Так темно.

Казалось, он тянет что-то, и тут раздался треск, как будто лопнул ремень или подтяжка. Во дворе завизжали дети:

— Падре Хосе, падре Хосе!

Он показался в дверях, стараясь не смотреть по сторонам, и ласково бормотал: «Чертенята».

— Вам надо явиться в полицейский участок, — сказал лейтенант.

— Но я ничего не сделал, ничего! Я был так осторожен.

— Падре Хосе! — визжали ребятишки.

— Если речь идет о том, что было у могилы, на похоронах, — сказал старик умоляюще, — то я… вас неверно информировали. Я даже не прочел молитвы.

Лейтенант повернулся и зашагал по дворику.

— Замолчите! — разъяренно сказал он детям, торчавшим в окне. — Идите спать! Немедленно! Слышите?

Они исчезли один за другим, но только лейтенант отошел, снова высунулись.

— С этими детьми ничего нельзя поделать, — сказал падре Хосе.

Раздался женский голос:

— Хосе, ты где?

— Здесь, дорогая, это полиция.

Огромная женщина в белой ночной рубахе выплыла к ним. Было около семи. Лейтенант подумал: «Наверное, она постоянно одета в эту рубаху, наверное, всю жизнь и не вылезает из постели».

— Ваш муж, — сказал он, с удовлетворением подчеркивая это слово, — ваш муж должен пойти в участок.

— Кто это сказал?

— Я.

— Он ничего не сделал.

— Дорогая, я только хотел сказать…

— Помолчи! Говорить буду я.

— Прекратите оба болтать, — сказал лейтенант. — Вас вызывают в участок к одному человеку. Священнику. Он желает исповедоваться.

— У меня?

— Да. Ведь никого другого нет.

— Бедняга, — сказал падре Хосе. Его красные глазки оглядывали дворик. — Бедняга.

Он смущенно поежился и украдкой бросил взгляд на небо, где совершали свой путь созвездия.

— Ты не пойдешь! — заявила женщина.

— Ведь это противозаконно? — спросил падре Хосе.

— Об этом не беспокойтесь.

— Ах, вот как! Не беспокоиться? — воскликнула женщина. — Я вас насквозь вижу! Вы не хотите оставить моего мужа в покое. Хотите заманить его в ловушку. Знаю я вас! Подсылаете людей попросить его помолиться — он же добряк. Но я напоминаю вам, что он — правительственный пенсионер.

— Этот священник, — медленно произнес лейтенант, — годами тайно трудился для *вашей*

Церкви. Мы его арестовали, и завтра его, разумеется, расстреляют. Он неплохой человек, и я обещал ему, что он встретится с вами. Он полагает, что это принесет ему пользу.

— Знаю я его, — прервала женщина. — Забулдыга, и больше ничего.

— Бедняга, — сказал падре Хосе. — Как-то раз он пытался найти у меня убежище.

— Обещаю вам, — сказал лейтенант, — никто не узнает.

— Никто? — закудахтала женщина. — Да весь город! Взгляните на тех сорванцов. Они ни на минуту не оставляют его в покое. Этому не будет конца: все захотят исповедоваться. Губернатор узнает и лишит нас пенсии.

— Но, дорогая, — сказал падре Хосе. — Это ведь мой долг…

— Ты теперь уже не священник! Ты мой муж! — Она грубо выругалась. — Вот что теперь твой долг.

Лейтенант слушал их с горьким удовлетворением. Точно он вновь обрел прежнюю убежденность.

— У меня нет времени ждать здесь, пока вы спорите. Вы идете или нет?

— Он не может заставить тебя идти, — сказала

женщина.

— Дорогая! В конце концов… ну… я же священник.

— Священник! — закудахтала женщина. — Ты священник?

Она захохотала, и к ее хохоту присоединился издевательский смех детей у окна. Падре Хосе прикрыл красные глаза руками, точно ему стало больно.

— Дорогая, — сказал он, а смех все продолжался.

— Идете вы или нет?

Падре Хосе в отчаянии махнул рукой, точно хотел сказать: что значит еще одна неприятность в такой жизни, как у него. Он сказал:

— Не думаю, что это возможно.

— Прекрасно! — сказал лейтенант. Он круто повернулся: он больше не мог тратить время на дела милосердия; он услышал, как падре Хосе умоляюще проговорил:

— Скажите ему, что я буду молиться за него.

Дети тем временем осмелели. Один из них пронзительно завопил:

— Хосе! Иди спать!

У лейтенанта вырвался смешок — слабое, неуверенное дополнение к смеху, который окру-

жал теперь падре Хосе; смех этот несся к шедшим по кругу созвездиям, названия которых были ему когда-то известны.

* * *

Лейтенант отворил дверь камеры; внутри было совсем темно. Он осторожно закрыл за собой дверь и запер ее, держа руку на револьвере.

— Он не придет.

Священник выглядел во мраке маленькой скорченной фигурой, примостившейся на полу, словно ребенок, занятый игрой.

— Не придет сегодня?

— Вообще не придет.

Наступила тишина — если можно говорить о тишине, когда все время звенят москиты и жуки взрываются, ударяясь о стену. Наконец, священник сказал:

— Наверное, он боится.

— Жена его не пустила.

— Бедняга. — Он попытался засмеяться, но не было ничего более жалкого, чем эта деланная попытка. Его голова упала, опустившись между колен, казалось, он все покинул и сам был покинут.

— Вам лучше узнать все, — сказал лейтенант. —

Вас судили и признали виновным.

— Разве я не должен был присутствовать на этом суде?

— Это ничего бы не изменило.

— Да, конечно. — Он помолчал, собираясь с духом, а потом спросил с напускной бодростью: — Когда же? Могу я узнать…

— Завтра.

Быстрота и краткость ответа не испугали его. Он снова опустил голову и, казалось, прозревал сквозь тьму, обкусывая ногти.

— В такую ночь, — сказал лейтенант, — плохо быть одному. Если хотите, я переведу вас в общую камеру…

— Нет-нет. Я лучше побуду один. Мне многое надо сделать. — Голос его дрожал, словно его знобило. Дыхание было тяжелым. — Мне надо о многом подумать.

— Мне хотелось бы что-нибудь для вас сделать, — сказал лейтенант. — Я принес вам бренди.

— Вопреки закону?

— Да.

— Вы очень добры! — Он взял маленькую фляжку. — Вам бы это не понадобилось, а я всегда боялся боли.

— Рано или поздно все умрем, — сказал лейтенант. — Не так важно, когда.

— Вы хороший человек. И вам нечего бояться.

— Какие у вас странные мысли, — мрачно сказал лейтенант. — Порой мне казалось, что вы просто хотите меня убедить…

— В чем убедить?

— Вероятно, в том, чтобы я позволил вам бежать — или чтобы я поверил в «святую католическую Церковь, общение святых…».... — Как там у вас дальше?

— «во оставление грехов»[38].

— Вы не очень-то во все это верите, так ведь?

— Нет, верю, — упорно сказал маленький человечек.

— Тогда о чем же вы тревожитесь?

— Понимаете, не такой уж я невежда. Я всегда сознавал, что делал. Сам себе я не могу отпустить грехи.

— А если бы пришел падре Хосе, все было бы по-другому?

Он долго ждал ответа, и, когда ответ прозвучал, лейтенант не понял его.

— Другой человек… это было бы легче.

---

[38] Примечания: 38

Слова из «Апостольского символа веры» *(прим. перев.).*

— Я больше ничего не могу для вас сделать?

— Нет. Ничего.

Лейтенант приоткрыл дверь: механически положив руку на револьвер, он почувствовал опустошенность, словно теперь, когда последний священник был под замком, думать стало не о чем. Пружина, заставлявшая его действовать, сломалась. Недели преследования казались ему теперь счастливым временем, которое ушло навсегда. Казалось, он чувствовал себя ненужным, точно жизнь покинула этот мир. Он сказал с горькой доброжелательностью (он больше не мог ненавидеть маленького измученного человека):

— Постарайтесь заснуть.

Он уже закрывал дверь, когда испуганный голос позвал его:

— Лейтенант!

— Да?

— Вы видели, как расстреливали людей? Таких, как я.

— Видел.

— Долго ли они мучаются?

— Нет-нет. Одну секунду, — ответил тот резко, закрыл дверь и зашагал назад через побеленный двор. Он вошел в участок; фотографии священника и убийцы все еще висели на стене; он сорвал

их: они больше не понадобятся. Потом сел к столу, опустил голову на руки и заснул от полного изнеможения. Позднее он не мог вспомнить, что ему снилось, кроме смеха, непрерывного смеха и длинного коридора, из которого он не мог найти выход.

* * *

Священник сидел на полу, сжимая фляжку. Затем отвернул пробку и поднес фляжку ко рту. Но бренди не действовало, как будто это была вода. Он отставил фляжку и начал нечто вроде исповеди за всю жизнь, произнося слова шепотом:

— Я впал в блудный грех, — сказал он. Формальная фраза ничего не значила, вроде газетной строки, и он не чувствовал раскаяния, произнося ее. Он начал снова:

— Я спал с женщиной. — И постарался представить себе, что вопросы задает ему другой священник: сколько раз? была ли она замужем? Нет. Не сознавая, что делает, он снова отхлебнул бренди.

Когда жидкость коснулась его языка, он вспомнил, как его дочь вышла на яркий свет, — угрюмое, несчастное, все понимающее лицо.

— Боже, помоги ей, — сказал он. — Осуди меня,

я это заслужил, но ей даруй вечную жизнь.

Вот какую любовь он должен был чувствовать к каждой душе; вместо этого все страхи и заботы о спасении несправедливо сосредоточились на одном ребенке. Он заплакал; он словно разучился плавать и из-за этого вынужден смотреть, как она медленно тонет. Он подумал: «Вот что я должен был чувствовать всегда по отношению ко всем». И он пытался обратить мысли к метису, лейтенанту, даже к зубному врачу, с которым когда-то провел несколько минут, к девочке с банановой плантации, вызывая в памяти длинный ряд лиц, сосредоточивая все свое внимание, точно это была тяжелая неподдающаяся дверь. Ведь они тоже в опасности. «Боже, помоги им!» — молился он, но и в тот же момент молитвы мысли возвращались к дочери, сидевшей на свалке, и он знал, что молится только за нее. Еще один грех.

Немного погодя, он начал снова:

— Я напивался — не знаю, сколько раз; пренебрегал всеми своими обязанностями; грешил гордыней, отсутствием милосердия… — Снова слова стали формальными, ничего не значащими. С ним не было исповедника, который повернул бы его мысли от слов к реальности.

Он выпил еще бренди и с трудом — судороги

продолжались — поднялся, проковылял к двери и глянул через решетку на горячий, залитый лунным светом двор. Он видел полицейских, спящих в гамаках; один, которому не спалось, лениво раскачивался взад-вперед, взад-вперед. Повсюду, даже в других камерах, стояла странная тишина; казалось, весь мир тактично отвернулся, чтобы не видеть, как он будет умирать. Ощупью, держась за стену, он вернулся, сел в дальний угол и опустил голову, зажав между колен фляжку. Он думал: «Если бы я не был таким никчемным… таким никчемным». Восемь бесплодных лет казались ему просто карикатурой на пасторское служение: несколько причастий, несколько исповедей и постоянный дурной пример.

«Если бы у меня была хоть одна душа, — думал он, — на которую я мог бы указать Богу и сказать: посмотри — вот плод моего труда…»

Люди погибли за него, они заслуживали святого; и оттого, что Бог не счел нужным послать им святого, ему стало немного горько за них.

«Падре Хосе и я, — думал он. — Падре Хосе и я». Он снова отхлебнул из фляжки. Он представил себе, как святые с холодными лицами отворачиваются от него.

Ночь тянулась медленней, чем тогда, когда он

был в тюрьме в прошлый раз. Потому что теперь он был один. Только бренди, которое он прикончил часам к двум, помогло ему ненадолго уснуть. Он ощутил острый приступ страха. Живот болел, губы запеклись от спиртного. Он начал вслух разговаривать сам с собой, потому что не мог больше выносить тишину.

— Все это очень хорошо… для святых, — сетовал он горестно. — Откуда он знает, что это длится только секунду? Быть может, это такая долгая секунда…

Потом он замолкал, слегка ударяя головой о стену. Падре Хосе они дали шанс, а ему нет. Наверное, они так поступили, потому что он слишком долго скрывался от них. Наверное, решили, что он откажется от условия, предложенного падре Хосе, откажется жениться, потому что он гордый. Наверное, если бы он сам предложил им это, можно было бы еще спастись. На некоторое время надежда вселила в него покой, и он заснул, прислонив голову к стене.

Странный сон снился ему. Он сидит за столиком, как в кафе, перед высоким соборным алтарем. Блюд шесть стояло перед ним, и он с жадностью ел. Он ощущал запах ладана, настроение его было удивительно приподнятым.

Блюда — как это бывает во сне — не имели вкуса, но у него было такое чувство, что, когда он с ними покончит, ему дадут самое лучшее блюдо. Перед алтарем двигался священник, совершая Литургию, но он не обращал на него внимания; казалось, служба больше его не касается. Наконец шесть тарелок опустели; кто-то невидимый позвонил в колокольчик, и служащий священник опустился на колени перед тем, как поднять Святые Дары. Однако он сам продолжал сидеть, просто ожидая, не обращая внимания на Бога, явленного в алтаре во плоти, словно это был Бог не для него, а для других людей. Потом стакан, стоявший рядом с тарелкой, наполнили вином. И, подняв глаза, он увидел, что его обслуживает девочка с банановой плантации.

— Я взяла это из папиной комнаты, — сказала она.

— Надеюсь, ты не украла вино?

— Не совсем так, — ответила она своим озабоченным, отчетливым голосом.

— Это хорошо, — сказал он. — А я забыл код — как он называется?

— Морзе.

— Да, да, Морзе. Три тире и одна точка.

И тотчас начался стук: три тире — одна точка.

Это стучал священник у алтаря, стучала толпа молящихся по всему храму.

— Что это значит? — спросил он.

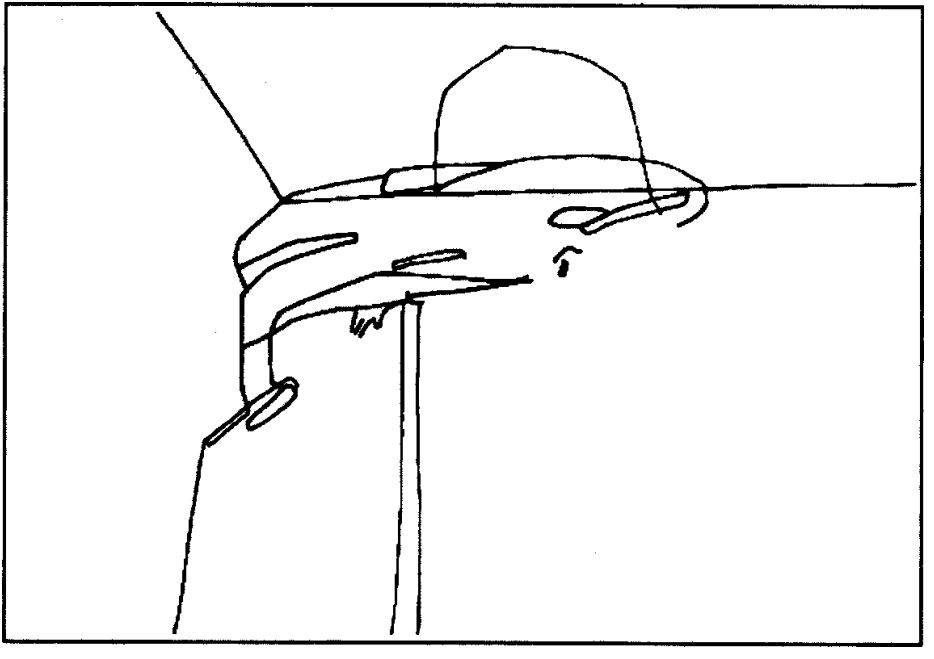
— Весть! — ответила девочка, смотря на него строго, ответственно и внимательно.

Когда он проснулся, светало. Он очнулся, полный безграничного чувства надежды, которое мгновенно и полностью покинуло его, едва только он увидел тюремный двор. Это утро его смерти. Он скрючился на полу с пустой фляжкой из-под бренди в руке, пытаясь вспомнить покаянную молитву.

— Каюсь, Господи, и прошу прощения за все грехи мои… Я распинал Тебя… Худшего Твоего наказания заслужил я. — Он путался, мысли его рассеивались; предстояла не та «мирная кончина», о которой всегда молятся. Он заметил собственную тень на стене: странная, на удивление смешная и жалкая. Как глупо было думать, что он достаточно силен, чтобы остаться, когда все остальные бежали. «Что я за нелепый малый, — думал он, — и какой никчемный. Я ничего ни для кого не сделал. Я мог бы вообще не жить». Его родители умерли — скоро и о нем никто даже и не вспомнит, наверное, он недостоин даже ада. Слезы текли по его лицу. В этот момент он не

страшился даже вечного осуждения — даже страх боли отступил на задний план. Он чувствовал только безмерное разочарование из-за того, что предстанет перед Богом с пустыми руками, что он ничего не сделал. В этот миг ему казалось, что стать святым было так просто. Требовалось лишь немного самообуздания и немного мужества. Он чувствовал себя, как человек, упустивший свое счастье лишь потому, что на несколько секунд опоздал к назначенному месту. Теперь, в конце, он понял, что важно только одно — быть святым.

Часть четвертая



Миссис Феллоуз лежала в душном номере гостиницы, прислушиваясь к звуку пароходной сирены на реке. Она ничего не видела, потому что смоченный одеколоном платок закрывал ей глаза и лоб.

— Дорогой, дорогой! — раздраженно позвала она, но никто не ответил. Ей почудилось, что ее преждевременно похоронили в большом бронзовом склепе на двух подушках под балдахином.

— Дорогой! — снова громко позвала она и стала ждать.

— Что, Трикси? — Это был капитан Феллоуз. — Я заснул, и мне снилось…

— Милый, намочи еще одеколоном платок: голова раскалывается.

— Хорошо, Трикси.

Он снял платок. Выглядел капитан постаревшим, усталым и скучным, словно человек, лишенный любимого занятия; подойдя к туалетному столику, он смочил платок.

— Не так много, милый. Достать одеколон мы сможем еще не скоро.

Он не отозвался, и она проговорила раздраженно:

— Ты слышал, что я сказала, милый?

— Слышал.

— Ты стал теперь таким неразговорчивым. Ты не знаешь, что такое болеть в одиночестве.

— Зато ты знаешь, — сказал капитан.

— Милый, мы условились, что лучше вообще ни о чем не говорить. Но мы не должны впадать в такое уныние.

— Не должны.

— Нам надо продолжать жить дальше.

— Надо.

Он подошел к кровати и положил платок на глаза жены. Потом сел на стул, просунул руку под полог и нащупал ее руку. Они удивительно напоминали детей, брошенных в чужом городе без присмотра взрослых.

— Ты купил билеты? — спросила она.

— Да, милая.

— Я должна потом встать и собраться, но голова так болит! Ты сказал, чтобы упаковали ящики?

— Забыл.

— Постарайся думать о делах, — сказала она вяло и недовольно. — Больше некому.

И оба они умолкли, не произнося фразы, которой должны были избегать. Он вдруг сказал:

— В городе волнение.

— Революция?

— Нет. Они схватили священника, и сегодня

утром его должны расстрелять, беднягу. Я все думаю: не тот ли это человек, которого Корэл… которого мы прятали.

— Вряд ли.

— Да, вряд ли.

— Священников так много.

Он выпустил руку жены, подошел к окну и выглянул на улицу. Были видны корабли на реке, маленький каменистый бульвар с бюстом и грифы.

— Как хорошо будет вернуться домой, — сказала миссис Феллоуз. — Мне порой казалось, что я умру здесь.

— Ну, что ты, милая.

— Другие же здесь умирают.

— Умирают, — проговорил он мрачно.

— Милый, ты обещал, — раздраженно сказала миссис Феллоуз. И тяжело вздохнула: — Бедная моя голова!

— Хочешь аспирину?

— Не помню, куда я его положила: вечно все не на месте!

— Может, пойти купить?

— Нет, дорогой, я не могу оставаться одна. Уверена, — продолжала она с деланным оживлением, — уверена, что я буду здорова, когда мы

вернемся домой. У меня тогда будет настоящий врач. Порой мне кажется, что это не простая головная боль. Говорила я тебе, что пишет Нора?

— Нет.

— Дай мне очки, милый, я прочту тебе то, что касается нас.

— Они у тебя на кровати.

— В самом деле.

Одна из парусных лодок отчалила и поплыла вниз по широкой реке, медленно текущей к морю.

— «Дорогая Трикси! — читала миссис Феллоуз с удовольствием. — Как много вам пришлось пережить! Этот негодяй...» — Она резко прервала чтение. — Ах да, вот она пишет: «Конечно, ты и Чарльз должны пожить у нас, пока не найдете какое-нибудь жилье. Если вы думаете о половине дома...»

— Я не уеду, — вдруг сурово сказал капитан Феллоуз.

— «то снять его обойдется всего в пятьдесят фунтов в год. Дом первоклассный, есть даже ванная для прислуги».

— Я остаюсь.

— «Кухня...» Что ты говоришь, милый?

— Я не уеду.

— Но мы это много раз обсуждали, милый. Пойми, если мы останемся, это меня убьет.

— Тебе не нужно оставаться.

— Но одна я ехать не могу, — сказала миссис Феллоуз. — Что подумает Нора? И вообще это нелепо…

— Здесь можно заниматься настоящим мужским делом.

— Собирать бананы? — Миссис Феллоуз издала слабый ледяной смешок. — Ты даже этого не мог делать как следует.

Он в ярости повернулся к кровати.

— Ты готова бежать отсюда и оставить ее…

— Я не виновата! Если бы ты был дома… — Она заплакала, скорчившись под москитным пологом. — Никогда мне не вернуться домой!

Он устало подошел к кровати и снова взял ее за руку. Так нельзя. Они оба были одиноки, они нуждались в поддержке друг друга.

— Ты не бросишь меня одну, дорогой, не правда ли?

В комнате стоял запах одеколона.

— Не брошу, дорогая.

— Ты понимаешь, как это было бы нелепо.

— Разумеется.

Они долго сидели молча, пока утреннее солнце

поднималось, усиливая духоту в комнате. Наконец миссис Феллоуз сказала:

— С тебя пенни, милый.

— За что?

— За твои мысли.

— Я просто думал о том священнике. Странный малый. Он пил. Я все думаю: может, это он?

— Если он, то он получил по заслугам.

— Но вот что странно — как она потом изменилась, словно он с ней говорил о чем-то…

— Милый, — жалобно откликнулась с кровати миссис Феллоуз, — ты обещал…

— Да, прости. Я стараюсь, но это не выходит у меня из головы.

— У меня есть ты, а у тебя я, — сказала миссис Феллоуз, и письмо от Норы зашуршало, когда она отвернула обмотанную платком голову от ослепительного света, проникавшего снаружи.

* * *

Мистер Тенч наклонился над эмалированным тазиком, моя руки розовым мылом.

— Не надо бояться, — сказал он на своем ломаном испанском. — Если будет больно, скажите.

Комната шефа полиции была превращена в подобие зубоврачебного кабинета. Это потребо-

вало немалых расходов, так как понадобилось доставить сюда не только самого мистера Тенча, но и его кабинет: кресло и загадочные ящички всех сортов, в которых, казалось, почти ничего не было, кроме соломы, и которые, похоже, вернутся назад не пустыми.

— Я мучаюсь несколько месяцев, — сказал шеф. — Вы не можете себе представить, какая боль.

— Напрасно вы не обратились ко мне раньше. Ваш рот в ужасном состоянии. Хорошо еще, что у вас нет пиореи.

Он кончил мыть руки и вдруг замер с полотенцем в руке, о чем-то задумавшись.

— В чем дело? — спросил шеф.

Мистер Тенч вздрогнул и, пройдя в кабинет, стал раскладывать в ряд маленькие металлические сверла, один вид которых напоминал о боли. Шеф следил за ним с содроганием.

— У вас трясутся руки, — сказал он. — Как вы себя сегодня чувствуете?

— Это несварение желудка, — ответил мистер Тенч. — Порой у меня перед глазами так много точек, что кажется, будто на мне вуаль. — Он вставил сверло в бормашину и изогнул шнур дугой.

— Я никогда не видел таких скверных зубов, —

говорил он. — Разве только один раз.

Шеф попытался что-то сказать, лишь зубной врач мог разобрать смысл его мычания.

— Нет, пациентом моим он не был. Полагаю, его уже вылечили. Вы здесь многих людей лечите пулями. Не так ли?

Он продолжал сверлить зуб, стараясь не дать разговору заглохнуть, так полагалось работать в Саутенде.

— Странная вещь произошла со мной, — говорил он. — Как раз когда я пришел с реки. Получил письмо от жены. Она не давала о себе знать двадцать лет. И вдруг, как с неба…

Он наклонился и посильнее нажал сверлом; шеф застонал.

— Полощите рот, — сказал мистер Тенч и стал мрачно менять сверло. — О чем это мы говорили? Да, о моей жене. Кажется, она обрела какую-то религию. Что-то вроде группы — в Оксфорде[39]. Что ей понадобилось в Оксфорде? Пишет, что простила меня и хочет узаконить положение. Очевидно, развестись. Простила *меня*!..

Мистер Тенч сказал это, оглядывая маленькую

---

[39] Примечания: 39

«Оксфордская группа» — религиозное движение, основанное в 20-х годах Бухманом. Получило название: «Моральное перевооружение» *(прим. перев.).*

безобразную комнату, и задумался, не выпуская сверла. Он рыгнул, прижал руку к животу и стал хмуро нащупывать смутную боль, которая почти никогда не отпускала его. Измученный шеф откинулся назад с широко раскрытым ртом.

— Это приходит и уходит, — сказал мистер Тенч, окончательно теряя нить мысли. — Разумеется, это пустяк. Просто несварение желудка. Но меня это парализует. — Он мрачно уставился в рот, будто среди гнилых зубов находился магический кристалл. Потом, словно собрав всю силу воли, он подался вперед, всунул сверло и стал нажимать на педаль. Жужжание и скрежет, жужжание и скрежет… Шеф напрягся всем телом и впился в кресло руками. А нога мистера Тенча ходила вверх-вниз, вверх-вниз… Шеф издавал странные звуки и махал руками.

— Держитесь, — говорил мистер Тенч, — держитесь! Еще чуть-чуть в уголочке… Сейчас кончу. Вот, добрался. Сейчас… Боже милостивый, что там такое? — он остановился.

Бросив шефа, он подошел к окну. Внизу, во дворе, отряд полицейских ставил винтовки к ноге. Прижимая руку к животу, Тенч возмущенно спросил:

— Неужели опять революция?

Шеф поднялся и выплюнул тампон.

— Да нет, — сказал он, — расстрел.

— За что расстреливают?

— За измену.

— А разве вы это делаете не у кладбища? — спросил мистер Тенч.

Жуткая сила притяжения удерживала его около окна: он никогда такого не видел. На маленький побеленный двор так же, как и он, смотрели грифы.

— Сейчас лучше там этого не делать, — сказал шеф. — Может начаться демонстрация. Народ такой темный.

Из боковой двери вышел маленький человечек; двое полицейских поддерживали его. Было заметно, что он старается держаться хорошо, только ноги плохо ему повиновались. Его подвели к противоположной стене; офицер завязал ему глаза платком.

«Я ведь его знаю, — подумал мистер Тенч. — Боже милостивый, надо что-то сделать!» — словно он смотрел, как расстреливают близкого ему человека.

— Чего вы ждете? — крикнул шеф. — В зуб попадает воздух!

Разумеется, сделать ничего было нельзя. Все

произошло очень быстро, точно по заведенному раз и навсегда порядку. Офицер отступил, поднялись винтовки; вдруг маленький человечек судорожно замахал руками. Он попытался что-то сказать: какую фразу полагалось говорить в этом случае? Это тоже соответствовало заведенному распорядку; но, по-видимому, у человека пересохло в горле, и ему не удалось произнести ничего, кроме неразборчивого слова, похожего на «простите». Ружейный залп заставил мистера Тенча содрогнуться; казалось, выстрелы прогремели у него внутри. Он почувствовал тошноту и закрыл глаза. Затем раздался одиночный выстрел, и, когда мистер Тенч открыл глаза, он увидел офицера, убиравшего револьвер в кобуру, а маленький человек рухнул, как и положено, у стены и превратился в ненужную кучу, которую следует убрать. Два кривоногих человека быстро подошли к нему. Это была арена: бык мертв; ждать нечего.

— О! — стонал шеф на кресле. — Больно, больно! Скорее… — умолял он мистера Тенча.

Но тот все забыл и стоял у окна, рассеянно нащупывая своей рукой скрытую боль. Он вспоминал в тот слепящий полдень, как этот маленький человек поднялся с горечью и отчаянием, чтобы

покинуть город, следуя за мальчиком, вспомнил зеленую лейку, фотографию ребят и то, как он выплавлял в песке протез для врожденной трещины.

— Пломбу! — умолял шеф, и глаза мистера Тенча остановились на пластинке, где лежало золото.

Валюта! Он должен требовать плату иностранной валютой. На сей раз он должен убраться отсюда, убраться, пока не поздно. Во дворе все было приведено в порядок; человек рассыпал лопатой песок, словно закапывал могилу. Но могилы не было: никого не было; ужасное чувство одиночества, усиленное болью в животе, охватило мистера Тенча. Тот человек говорил по-английски и знал о его детях. Тенч почувствовал, что он остался совсем один.

* * *

— «И наконец… — голос женщины звучал торжественно, и две девочки с блестящими глазами слушали, затаив дыхание, — …наконец великий день испытания настал».

Даже мальчик, стоявший у окна, глядя на темную, опустевшую после наступления комендантского часа улицу, проявил интерес: это была

последняя глава, а в последней главе делá всегда принимают решительный оборот. Наверное, вся жизнь такова: сначала скука, а потом — героические подвиги.

— «Когда шеф полиции вошел в камеру Хуана, он застал его молящимся на коленях. Он ни минуты не спал и провел свою последнюю ночь, готовясь к мученичеству. Он был совершенно спокоен и счастлив и, улыбаясь шефу полиции, задал ему вопрос: не пришел ли тот вести его на пир. Даже этот злой человек, который преследовал стольких невинных людей, был явно растроган».

«Скорей бы дело дошло до расстрела», — думал мальчик. Его волновал расстрел, и он с неизменным нетерпением дожидался coup de grace[40].

— «Его вывели на тюремный двор. Ему не нужно было связывать руки — он перебирал свои четки. Вспомнил ли юный Хуан за короткий путь к стене казни те недолгие счастливые годы, которые он провел так бесстрашно? Вспомнил ли дни в семинарии, мягкие замечания старших, закаляющую дисциплину и те свободные времена, когда он играл Нерона перед старым епископом? Нерон

---

[40] Примечания: 40

«Удар милосердия» *(франц.)*, — то есть удар, которым приканчивали смертельно раненного человека *(прим. перев.)*.

и римский амфитеатр были здесь перед ним».

Голос матери уже слегка охрип; она быстро перелистала оставшиеся страницы; прерывать чтение уже не имело смысла, и она продолжала дочитывать уже скороговоркой:

— «Достигнув стены, Хуан повернулся и стал молиться — не за себя, а за своих врагов, за отряд бедных невинных солдат-индейцев, стоявших перед ним, и даже за самого шефа полиции. Он поднял распятие, висевшее на его четках, и молился, чтобы Бог простил им, просветил их невежество и в конце концов привел их, — как Он привел гонителя Савла — в Свое вечное Царство».

— Разве ружья не были заряжены? — спросил мальчик.

— Что значит — «заряжены»?

— Почему они не выстрелили, чтобы остановить его?

— Потому что Бог судил иначе. — Она прокашлялась и продолжала: — «Офицер дал команду прицелиться. В этот миг улыбка, полная благоговения и блаженства, озарила лицо Хуана, словно он видел руки Божии, простертые, чтобы принять его. Он всегда говорил матери и сестрам о предчувствии, что уйдет на небо раньше

них. Со странной улыбкой, обращаясь к матери, доброй хлопотливой хозяйке, он повторял: „Я приготовлю там все к вашему приходу“. Теперь этот час настал; офицер дал команду стрелять и…» — Она читала слишком быстро, потому что девочкам пора уже было спать, но ей мешала икота. — «Стрелять, — повторила она, — и вот…»

Девочки тихо сидели рядом с сонным и равнодушным видом; эта часть книги им никогда не нравилась. Они терпели ее ради рассказа о любительском спектакле, первом причастии и о сестре Хуана, которая стала монахиней и в третьей главе трогательно прощалась с семьей.

— «Стрелять, — проговорила мать, — и вот Хуан поднял обе руки над головой и крикнул громким твердым голосом, обращаясь к солдатам и нацеленным на него винтовкам: „Слава Царю Христу!“ В следующий миг он упал, сраженный двенадцатью пулями, а офицер, нагнувшись над его телом, приставил револьвер к его уху и спустил курок».

От окна донесся продолжительный вздох.

— «Но в этом выстреле не было нужды. Душа юного героя уже покинула свое земное обиталище. Счастливая улыбка на мертвом лице поведала даже этим темным людям, где пребывает теперь Хуан. Один человек, бывший там, был так тронут

его мужеством, что тайком смочил свой платок в крови мученика. Этот платок был разрезан на сотни кусков и теперь хранится во многих благочестивых домах». А теперь, — быстро продолжала мать, хлопая в ладоши, — теперь спать!

— А тот, которого они сегодня расстреляли, — спросил мальчик, — он тоже был героем?

— Конечно.

— Тот самый, который тогда ночевал у нас?

— Да, он один из мучеников Церкви.

— От него шел странный запах, — сказала одна из девочек.

— Никогда не говори так, — сказала мать. — Он, может быть, святой.

— Значит, ему можно молиться?

Мать поколебалась:

— В этом не будет ничего плохого. Конечно, чтобы мы были уверены в его святости, должны быть чудеса.

— А он крикнул «Слава Царю Христу!»? — спросил мальчик.

— Конечно, он же был героем веры.

— И в его крови омочили платок? Кто-нибудь это сделал? — продолжал мальчик.

— Наверное, — важно проговорила мать. — Сеньора Хименес сказала мне… Думаю… если отец

даст денег, я смогу купить эту реликвию.

— Разве такое продают за деньги?

— А как же еще? Реликвия не может достаться всякому.

— Да, не всякому.

Мальчик сел на подоконник, глядя на улицу, а за его спиной возились девочки, ложившиеся в постель. Вот это да! Герой был в их доме! Пусть всего лишь сутки. Но он был последним. Больше нет ни священников, ни героев. С горечью прислушивался мальчик к звукам шагов по мостовой. Его окружала обыкновенная жизнь. Он слез с подоконника и взял свечу. Сапата, Вилья, Мадеро и остальные, — все они погибли, а оставались люди вроде тех, кто их убил. Мальчику казалось, что он обманут.

А вдоль тротуара шел лейтенант; в его походке была какая-то решимость и упорство, словно каждым шагом он хотел сказать: «Что я сделал, то сделал!» Он заметил мальчика со свечой в окне, который, казалось, смотрел, припоминая его лицо. «Я сделал бы ради него и ради них больше, куда больше! — подумал лейтенант. — Их жизнь никогда не будет такой, как была у меня». Но живая любовь, которая заставляла его спускать курок, угасла и умерла. Она, конечно, вернется,

думал лейтенант. Это, как любовь женщины, тоже подчиняется ритму. В то утро он почувствовал удовлетворение. А сейчас он пресытился. Лейтенант горько улыбнулся мальчику в окне и сказал:

— Buenas noches![41]

Мальчик смотрел на кобуру револьвера, и лейтенант вспомнил случай на площади, когда он позволил ребенку потрогать его оружие — кажется, это тот самый мальчуган. Он снова улыбнулся и похлопал по кобуре, чтобы показать, что все помнит, но мальчик сделал гримасу и плюнул через оконную решетку так метко, что его плевок попал точно в рукоятку револьвера.

* * *

Мальчик шел по дворику — спать. У них с отцом была маленькая темная комната с железной койкой. Он лег к стене: отец ляжет с краю, чтобы не будить сына. С угрюмым видом мальчик снял при свете свечи башмаки и стал раздеваться. Он слышал шепот молитвы в соседней комнате и чувствовал себя обманутым и разочарованным, словно что-то потерял. Лежа в духоте на спине,

---

[41] Примечания: 41
Доброй ночи! *(исп.).*

он смотрел в потолок, и ему казалось, что, кроме их лавки, материнского чтения и глупых игр на площади, ничего в жизни не осталось.

Однако он скоро заснул. Ему снилось, что священник, расстрелянный утром, снова у них дома и одет в одежду, которую дал ему отец, — лежит неподвижно, приготовленный к погребению. Мальчик сидел у кровати, а мать читала очень толстую книгу о том, как священник играл роль Юлия Цезаря в присутствии епископа; у ног ее стояли корзины с рыбами, с них текла кровь, и они были завернуты в ее носовой платок. Мальчик чувствовал скуку и усталость; кто-то в коридоре забивал гвозди в гроб. Вдруг умерший священник подмигнул ему — точно, веки его шевельнулись…

Мальчик проснулся; кто-то тихо стучал дверным молотком в наружную дверь. Отца на кровати не было, а в соседней комнате стояла тишина. Должно быть, прошло много времени. Он прислушался, ему стало страшно. После некоторой паузы стук повторился, но в доме никто не двигался. Мальчик нехотя спустил ноги на пол — должно быть, отец забыл ключи. Он зажег свечу, закутался в одеяло и снова прислушался. Могла услышать мать и подняться, но он прекрасно

понимал, что это *его* обязанность. Сейчас он был единственным мужчиной в доме.

Он медленно прошел через дворик к наружной двери. А вдруг это вернулся лейтенант наказать его за плевок?.. Он отпер тяжелую железную дверь и отворил ее. На улице стоял незнакомец — высокий, бледный, худой мужчина с горькой складкой у рта; в руках у него был чемоданчик. Он назвал имя матери мальчика и спросил, здесь ли живет эта сеньора.

— Здесь, — сказал мальчик, — но она спит.

Он хотел было закрыть дверь, но незнакомец помешал ему, просунув в щель узкий носок ботинка.

— Я только что с парохода. Прибыл по реке сегодня ночью. Быть может… У меня есть письмо к сеньоре, от ее большого друга.

— Она спит, — повторил мальчик.

— Может, ты дашь мне войти? — сказал мужчина со странной робкой улыбкой и вдруг, понизив голос, добавил: — Я священник.

— Вы? — воскликнул мальчик.

— Я, — ответил тот тихо. — Меня зовут отец…

Но мальчик уже широко распахнул дверь и прижался губами к его руке, прежде чем тот успел назвать свое имя.

Послесловие

На титульном листе этой книги стоят два замечательных имени — Грэм Грин и Александр Мень. Писатель и священник, англичанин и русский, католик и православный… Казалось бы, как далеки они за пределами книжного листа. Но так ли это?

Что подвигло отца Александра единственный раз в жизни выступить в непривычной для него роли переводчика художественного текста? Причем выступить настолько успешно, что его перевод смело можно поставить рядом с переводом такого мастера, как Наталья Волжина.

Как всегда, были повод и причина. Поводом могло послужить то обстоятельство, что тетя отца Александра, Вера Яковлевна Василевская (в семье ее звали Голя), человек верующий и весьма образованный, не то чтобы перевела, а вольно пересказала роман «Сила и слава», многое опуская и даже добавляя в текст оригинала. Брат отца Александра Павел помнит, как тот сказал ему: «Голя учинила расправу над Грином». Но это был, представляется, лишь чисто внешний толчок…

Действие романа Грина происходит в Мексике конца 20-х — начала 30-х годов прошлого века, когда в стране (где шла гражданская война между правительством, непримиримым врагом клерикализма, и добровольцами-католиками, отстаивавшими права Церкви) губернаторы штатов получили полномочия по собственному усмотрению решать взаимоотношения государства и Церкви.

Многое, описанное в романе, писатель увидел собственными глазами, когда в 1938 году посетил Мексику как член комиссии, собиравшей факты о религиозных преследованиях. Об увиденном он рассказал в книге путевых очерков с красноречивым названием «Дороги беззакония» (1939), содержащей «впечатления о маленькой части Мексики в определенный промежуток времени (весна 1938 года), вскоре после того, как в стране, которой правил президент Кальес, именем революции были учинены гонения на религию, равных которым мир не знал с елизаветинских времен».

Ну, что касается «елизаветинских времен», то тут Грин обнаружил неосведомленность. Ведь то же самое и примерно в тот же период происходило не в меньших масштабах и в нашей стране, где

репрессировали и расстреливали священников, закрывали и взрывали храмы, запрещали религиозную литературу, преследовали верующих… Если в романе Грина на главной площади города, на месте разрушенного собора возвышаются огромные железные качели, напоминающие виселицы, то в центре нашей столица на месте взорванного храма после неудавшейся попытки воздвигнуть Дворец Советов вырыли бассейн (платоновский «котлован»), чтобы уж вовсе ничего не возвышалось.

Представляется, что уже близость общественного и политического климата должна была привлечь отца Александра к роману Грина. Ведь он с детства ощущал эту атмосферу гонений: мать и тетя принадлежали к катакомбной церкви, что усугубляло опасность. Он лично знал священников, которых сажали, слышал разговоры взрослых, видел, как родители отправляли посылки в лагеря…

И все же дело не только в этом.

Поездка в Мексику стала для Грина, можно сказать, переломным моментом в его мировосприятии: «С тех пор как я принял католичество, прошло уже больше десяти лет. Моих чувств вера не затрагивала, я руководствовался рассудком.

Там же, в Мексике, я впервые почувствовал веру сердцем. Среди пустых и разрушенных храмов, из которых были изгнаны священники, во время тайных месс в Лас-Касасе, которые служили без колокольчика, среди чванливых pistoleros…», — читаем в его мемуарах «Пути спасения».

И он написал роман о человеке, который несет «веру в сердце своем».

Как и все остальные произведения Грина, роман строится на антитезе и парадоксе. Центральный персонаж — безымянный священник, единственный, оставшийся в штате (остальные либо расстреляны, либо отреклись от сана, либо покинули пределы штата), личность совсем не героическая. Невзрачный, трусоватый, в минуту слабости сошедшийся с женщиной, которая родила от него ребенка, пристрастившийся к бутылке в штате, где введен «сухой закон»… Его грубовато называют «поп-пропойца», и он сам о себе говорит: «Я плохой священник и плохой человек».

Так думает о себе персонаж, но автор думает иначе. Ведь именно с этим образом связаны две центральные антитезы романа — «сила и слава» и «грешник и святой». Причем по ходу романа становится ясно, что противопоставления тут нет и что все четыре понятия относятся к свя-

щеннику.

Вера и неверие, грех и святость, дух и догма составляют нерв всех романов Грэма Грина; в «Силе и славе» эти темы звучат особенно остро. И уникальна даже не сама постановка вопросов, а мучительный, полный сомнений поиск ответов на них, подчас поражающий своей парадоксальностью.

По ходу романа становится ясно, что центральный герой романа, этот маленький человечек, со всеми его слабостями, — переставший соблюдать посты, потерявший свой бревиарий, окрестивший в состоянии опьянения мальчика женским именем, то есть человек явно грешный с ортодоксальной точки зрения, — все же героически выполняет свой пасторский долг, оставаясь последним священником в штате.

Слово «мученик» очень часто звучит в романе, в основном в связи с центральным персонажем. Разные люди предрекают священнику мученичество (и падре Хосе, и добродетельная сеньора в тюрьме, и даже, пусть с насмешкой, сам лейтенант полиции), а тот открещивается, искренне считая себя недостойным, погрязшим в грехе. Да и мать его незаконного ребенка, спасая ему жизнь, все же безжалостно бросает горькие

слова: «Допустим, вы погибнете. (…) Вы станете мучеником, верно? Но подумайте, что за мученик получится из вас — посмешище?»

Однако Грин опровергает эти слова, показывая, что опустившийся, нарушающий обрядовую сторону религии, презираемый и гонимый священник теперь ближе к Богу, чем во времена своей «чистоты» и благополучия.

Не только тема мученичества, но и святости пунктиром проходит через весь роман, начиная с момента, когда в полицейском участке голову священника на групповой фотографии обводят кружком, напоминающим нимб.

Часто к мыслям о святости обращается сам священник, мучительно осознавая, как далек он от этого состояния («не думаю, что мученики похожи на меня (…) Мученики — святые люди», «никогда, дети мои, вы не должны думать, будто святые мученики похожи на меня», «мы с вами не святые…», «Священник думал о себе: „Нет, он не святой“, „Но я же не святой, я даже не храбрый человек“»). Наконец, и предсмертные размышления священника завершаются словами: «… важнее всего только одно — быть святым».

И вспоминается эпиграф из Шарля Пеги, предпосланный Грином другому его роману, «Суть

дела»: «Грешник постигает самую душу христианства… Никто так не понимает христианства, как грешник. Разве что святой».

Антагонистом священника оказывается в романе лейтенант полиции, тоже безымянный персонаж, одержимый мечтой очистить страну от пороков и заблуждений прошлого, человек по-своему бескорыстный, однако верный ложной идее построения «светлого будущего», для осуществления которой он готов идти на жестокости и даже убийства. Ради, как ему представляется, благой цели лейтенант берет в деревнях заложников и расстреливает их, если жители деревни не доносят на посетившего их священника: «Пусть погибнет несколько человек, дело стоит того», — считает он.

«Я хочу следовать велению сердца», — говорит лейтенант.

«С помощью револьвера?» — парирует священник.

Так ложно понятое добро оборачивается злом, хотя те, кто им руководствуется, субъективно не злые люди. (Гонимый священник совершенно искренне говорит своему преследователю лейтенанту: «Вы хороший человек»).

В мемуарах «Пути спасения» Грин вспоминает,

что многих персонажей «Силы и славы» он вынес из своей мексиканской поездки: «Как же мало в моем романе остается выдуманных персонажей, если не считать главных героев: священника и лейтенанта полиции (…) Я не находил честности и идеализма лейтенанта из „Силы и славы“ у полицейских и pistoleros, с которыми мне приходилось сталкиваться — я вынужден был придумать его в противовес падшему священнику: идеалист-полицейский душил жизнь из самых лучших побуждений, пьющий священник продолжал ее творить».

Лейтенант в чем-то даже более трагическая фигура, чем священник. В «Путях спасения» Грин признается: «Писатель-католик не может не сочувствовать хоть немного любой искренней вере…»

Более того, Грин даже придал лейтенанту черты, сближающие его с представителем духовного сана: «Когда он шел, внимательно всматриваясь в окружающее, он чем-то напоминал священника. Так богослов обозревает заблуждения минувших веков, чтобы снова сразиться с ними». Да и его комнатенка была «как тюремная камера или келья монаха».

(Любопытно, что этой тягой и одновременно

отталкиванием по отношению к Церкви Грин наделял многих своих героев-протогонистов. Неприкаянный подросток Пинки из «Брайтонского леденца» в детстве мечтал стать священником, а стал Главарем бандитской шайки, революционер-террорист Леон Ривас из «Почетного консула» — в прошлом священник-расстрига. Недаром Грин взял эпиграфом к этому роману слова Томаса Харди: «Все слито воедино: добро и зло, великодушие и правосудие, религия и политика».)

«Я человек веры, — утверждает писатель, — но при этом еще и человек сомнений. Сомнение плодотворно. Это главное из хороших человеческих качеств».

Победа «силы» лейтенанта — это пиррова победа: «Пружина, заставлявшая его действовать, сломалась… он чувствовал себя ненужным, точно жизнь покинула этот мир…». Представляется, что священнику удалось зародить сомнение в его душе.

Отношение Грина к религии, которое многих не устраивало в Ватикане, в значительной мере было близко отцу Александру. Святейшая канцелярия осудила роман за «парадоксальность», за «показ чрезвычайных обстоятельств» и требовала исправлений, на которые Грин не согласился;

в результате роман был включен в Индекс запрещенных книг при папе Пии XII.

Знаменательно, что и в нашей стране роман долгое время находился в спецхране. А отец Александр в те самые годы начитал на магнитофонную пленку свой перевод романа и передал эту запись «группе матерей», прихожанок храма в Новой деревне, — поступок по тем временам отнюдь не безопасный. Была и инсценировка романа, в которой отец Александр играл священника. В то время отец Александр жил в атмосфере, близкой к описанной в романе Грина, — слежка, доносы, вызовы на Лубянку… Временами он был и вовсе на волосок от посадки.

Романиста и протоиерея сближает широкий, свободный, раскрепощенный взгляд на греховность и святость, при огромном внимании и мучительных размышлениях об этих понятиях. Оба они не признавали ханжества, фарисейства, зашоренности, — всего того, что можно выразить избитыми словами — «не дух, а буква»…

В каждом романе Грина есть такие «добродетельные», самодовольные персонажи. Для писателя, очень терпимого и снисходительного к людям, именно они так же отвратительны, как и для его героя. «Малодушие и страсть Бог может

простить, но можно ли простить благочестие, превращающееся в привычку? — размышляет священник. — В злое сердце спасение может ударить, как молния, но благочестие, ставшее привычкой, исключает все, кроме вечерних молитв, собраний приходских обществ и робкого прикосновения губ к твоей одетой в перчатку руке».

Такого подхода придерживался и отец Александр, чего не прощали и не простили ему кое-кто и в нашей Церкви.

И в этом смысле центральный персонаж романа Грина, которого отец Александр назвал «безымянным героем веры», может быть сопоставлен с ним самим, без малейшего умаления «славы» российского священнослужителя.

Грин посчитал возможным провести параллель между героем романа и Святым Хуаном, сусальное житие которого читает детям набожная сеньора. Причем гибель священника описана почти теми же словами, что и мученическая смерть юного святого: «Достигнув стены, Хуан повернулся и стал молиться — не за себя, а за своих врагов, за отряд бедных невинных солдат-индейцев, стоявших перед ним, и даже за самого шефа полиции. Он поднял распятие, висевшее

на его четках, и молился, чтобы Бог простил им (…) Офицер дал команду стрелять (…) и вот Хуан поднял обе руки над головой и крикнул громким твердым голосом, обращаясь к солдатам и нацеленным на него винтовкам: „Слава Царю Христу!“. В следующий миг он упал, сраженный двенадцатью пулями, а офицер, нагнувшись над его телом, приставил револьвер к его уху и спустил курок».

В описании смерти священника нет аффектации лубочной книжки, оно дано через восприятие стороннего наблюдателя, дантиста мистера Тенча: «Офицер отступил, поднялись винтовки; вдруг маленький человечек судорожно замахал руками. Он попытался что-то сказать: какую фразу полагалось говорить в таком случае? Это тоже соответствовало заведенному распорядку; но, по-видимому, у человека пересохло в горле, и ему не удалось произнести ничего, кроме неразборчивого слова, похожего на „простите“. Ружейный залп заставил мистера Тенча содрогнуться; казалось, выстрелы прогремели у него внутри (…) Затем раздался одиночный выстрел, и, когда мистер Тенч открыл глаза, он увидел офицера, убиравшего револьвер в кобуру».

В финале жизни отец Александр отчасти повто-

рил судьбу героя переведенного им романа. Его трагическая гибель, которую лично я, как, впрочем, и многие, считаю мученической смертью, заставляет вспомнить безымянного героя романа Грина. Будем надеяться, что когда-нибудь станут известны все обстоятельства этого злодеяния и воссияет «сила и слава».

* * *

Перевод отца Александра был опубликован уже после его смерти, в 1995 году в издательстве «Путь». Несомненно, издание было задумано с благими целями, но осуществлено некомпетентными людьми. Безымянный редактор (опять «безымянный» — нас прямо преследует это слово!) произвольно менял весьма точный перевод отца Александра: возникали пропуски (иногда целых предложений или существенных их частей), множились несвойственные Грину рубленые фразы, так как все разнообразие знаков препинания оригинала заменялось точками, реплики одного персонажа приписывались другому… И, может быть, самое главное, — живые, нестандартные слова и выражения заменялись стертыми, шаблонными.

Волею судеб (в этом случае проявившейся в лю-

безной помощи Екатерины Юрьевны Гениевой) в моем распоряжении еще в девяностые годы оказался экземпляр машинописи перевода отца Александра. Это позволило теперь, сличая фразу за фразой, в основном восстановить первоначальный облик текста, оставляя в редких случаях и издательские варианты иди, еще реже, собственные поправки, — это естественный процесс работы над рукописью: ведь, если бы перевод публиковался при жизни автора, он неизбежно подвергся бы какой-то редактуре.

Сейчас исправлены грубые издательские ошибки и восстановлено общее звучание перевода, что позволит читателю в полной мере оценить многогранность творческой личности протоиерея Александра Меня.

Ксения Атарова

Романом Грэма Грина «Сила и слава» мы начинаем новую серию – «Соль земли». Книга Грина занимает в этой серии особое место: отец Александр перевел ее в то время, когда Грин не разрешал публиковать свои произведения в Советском Союзе – стране, преследующей инакомыслящих.

Отец Александр перевел этот роман для своей паствы – и не только перевел, но и сам начитал текст. История гонения опального священника была близка отцу Александру, и до какой-то степени он видел в его судьбе свою судьбу.

Мы будем продолжать эту серию, представляя в ней наиболее важные для отца Александра книги, герои которых – соль земли.

Екатерина Гениева

ГРЭМ ГРИН

Сила и слава